

Проза

Татьяна
МОСКВИНА

о женщинах,

БАБА ЗА
РУ

которые

18+

за руль

Петербург. Текст

Татьяна Москвина

Бабаза ру

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Москвина Т. В.

Бабаза ру / Т. В. Москвина — «Издательство АСТ»,
2019 — (Петербург. Текст)

ISBN 978-5-17-120188-3

Бабаза ру (Баба за рулём) – новая книга малой прозы Татьяны Москвиной, где меткий взгляд публициста сочетается с острым пером прозаика, сатира переплетается с драмой, бытовой жанр – с историей контркультуры. Ее героини остроумны и решительны, абсурдны и незащищены; они ходили на рок-концерты в восьмидесятых, смогли обмануть смерть, спастись в обители сестры Трезвости, сварить лучший в мире борщ и на шестом десятке сесть за руль. Женщины, которые рулят.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-120188-3

© Москвина Т. В., 2019
© Издательство АСТ, 2019

Содержание

Беспокойная я	6
Обмани смерть	11
Сестра трезвость	19
Часть первая	19
Часть вторая	33
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Татьяна Владимировна Москвина

Бабаза ру

© Москвина Т.В., 2019.

© ООО «Издательство АСТ», 2019.

Беспокойная я **Вместо предисловия** **(ответ на вопрос «Как мы пишем»)**

С уважением, Мускатблит. Этими словами завершалось письмо из журнала «Юность», куда я отправила в середине 1980-х годов своё сочинение о бездомных кошках под названием «Чужая жизнь». Состояло произведение из нескольких новелл («Торговка и Авантюрист», «Юность Маришки», «Смерть Аристократа» и так далее) и поэтически преображало действительность ленинградского района Купчино, где кошки годами бесконтрольно размножались и стали по численности чуть ли не превышать человеческое население района.

Сильная была вещь – «Чужая жизнь». В ту пору тексты, отправленные в редакцию без протекции, назывались «самотёк», и на самотёке сидели и отвечали трудящимся вот такие внимательные и вежливые мускатблиты. Потому как прежде всего ты – советский человек, а потом уже графоман... На товарища Мускатблита (а может быть, на товарища Мускатблит, поскольку тайной истории остался пол ответившего мне редактора) моё сочинение произвело благоприятное впечатление. Он/она сообщил/сообщила мне, что-де рассказы мои литературно грамотны, однако редакция отдаёт предпочтение темам из современной жизни, и, если у меня что-то такое есть, я могу смело присылать.

Я решительно не понимала, почему мои купчинские кошки несовременны. Дала их почитать в ленинградский журнал «Аврора», но там завязалась драма. Дело в том, что в те годы я уже писала рецензии и была примерно таким же критиком, как и сейчас. То есть пишушим ровно то, что он думает. Я приписываю это загадочное свойство кастрюле с кипящим молоком, которую в детстве на мою голову пролила бабушка (у кастрюльки внезапно отвалилось дно). Тогда думали, что последствий нет, но последствия, как оказалось, были. Там что-то прижглось и отпало у меня внутри головы напрочь. Поэтому в газете «Ленинградский рабочий» (орган ленинградского обкома КПСС) на полосе культуры появилась моя статья «Парадоксы актуальной пьесы», где я выражала обоснованные сомнения в художественной ценности спектакля Большого драматического театра «Последний посетитель».

В этом спектакле на приём к министру (Кирилл Лавров) приходил посетитель-правдоруб. И упрекал того в недостаточном внимании к населению (на дворе 1986 год, юность перестройки). Помню, как посетитель гневно показывал на шкафы в приёмной министра, где выстроились томики собрания сочинений Ленина, и обличающе кричал: «Вы хоть открываете шкаф, читаете Ленина?» На что я скептически заметила в статье: ну, откроет он Ленина, и что дальше? Мысль моя неглубокая состояла в том, что пьеса и спектакль безнадёжно фальшивы. Ладно, написала и написала, но аврорский редактор В.П., с которым я была отлично знакома и могла надеяться на протекцию, являлся в те годы страстным ленинцем. Он разгонистым почерком параноика написал мне письмо на двадцати четырёх страницах. Где утверждал, что я оскорбила Ленина. Поэтому кошки мои, понятно, попали под колесо истории и погибли.

Какой-то обрывок машинописи, страничек пять, я нашла недавно – а, «Чужая жизнь»! Несостоявшийся литературный дебют. Который в результате моей лени и трусости (ах, что скажут!) произошёл лишь в 2004 году, когда в «Амфоре» вышел мой роман «Смерть это все мужчины». До той поры я оставалась критиком, хотя у меня начинается лютая тоска от одного этого слова – «критик».

Да, лень, а что же ещё? Допустим, к писателю прилетают крылатые кони, шляющиеся по эфиру музыки, бездельники-даймоны и прочая сомнительная публика, и наступает состояние так называемого «вдохновения». Но для этого он должен сидеть на заднице, с пишушим агрегатом данной эпохи, и сидеть плотно, часами, днями, годами. На этот счёт у нас есть океан

свидетельств. Как Жорж Санд заканчивала один роман, ставила точку и тут же принималась за другой. Как с неистовым упорством пахаря корпел Лев Толстой. Как Фёдор Михайлович в своих смутных ментальных бурях въезжал в бессонную ночь с коробкой папирос и чифирём, под девизом «А, под пером разовьётся!». Не говоря уже о массиве советских писателей, которые буквально зарабатывали «трудодни», сооружая тысячестраничные эпопеи. Вы читали когда-нибудь роман Анны Антоновской «Великий Моурави»? Шесть томов. Памятник труду, на который вряд ли способны наши современники, всегда готовые увильнуть от каторги сочинителя эпопей. Не все, не все. Но я точно.

При этом через фильтры вечности пролезает немного. Кто-нибудь ведаёт, что аббат Прево написал десятки сочинений, кроме маленькой повести про шалаву Манон Леско? Мог бы в принципе не утруждаться, сочинил «Манон» – и хватит, но кто ж при своей жизни знает, чему суждено идти сквозь времена, а чему – погрузиться в пески забвения.

На горе стоит ольха,
А под горою – вишня,
Сочинить бы два стиха,
Остальное – лишнее... —

написала я как-то в 1990-х годах. Конечно, имея в виду Аполлона Григорьева, неутомимо производившего горы критических статей (и отличных по тому времени), а оставшегося в активной памяти культуры благодаря «Две гитары, зазвенев...». Притом в цыганской венгерке, в том тексте, который исполняется, григорьевских-то именно два стиха.

Итак, надо работать, хотя вообще-то... Виктор Гюго, страшный дед, родитель «европейских ценностей», был патологически работоспособен и оставил нам целый шкаф сочинений, а Альфред де Мюссе был пьяница-импровизатор и мог посвятить литературе разве пару часов далеко не каждый день. Предпочитал творить стихи и маленькие пьесы. Каким-то чудом ухитрился сочинить что-то вроде романа («Исповедь сына века»), но и там видно, как писал-писал – и надоело, бросил. А оказался мил и нужен, потому как литература наподобие стихии воды так разнообразна, что принимает всех – трезвенников и пьяниц, тружеников и лентяев, жизнелюбов и мизантропов... вот только насчёт красавцев у неё есть какое-то предубеждение.

Красавцы среди писателей – принципиальная редкость. Это потому, что в сущности писателю внешность не нужна. Идеальная внешность писателя – примерно как у Томаса Манна: какой-то затрапезный аптекарь. Василий Розанов даже изумлялся своей внешности, писал, вообще нет у меня внешности, какой-то комок дрожащей бесформенной плоти. Писатель – «внутренний человек». Если его «внешний человек» привлекателен, это чаще всего означает какую-либо драму. Николай Олейников в 1920-х годах для смеху попросил справку в сельсовете, что он «действительно красив» (Олейников утверждал, такая справка обязательно нужна для поступления в Академию художеств), и ему такую справку дали. Однако Евгений Шварц вспоминает, что Олейников мучительно страдал от невозможности работать, он не мог писать месяцами, пытался избавиться от зажима какими-то хитрыми системами оздоровления, но ничего не помогало. Не единичный случай. Но этот барьер я преодолевала без труда: не красавица, я могла бы не отвлекаться от литературы. Легко сказать!

Ведь, чтобы писать, надо жить, а мне-то как раз и нравилось жить, просто жить, без всякого смысла, как амёба. Ведь никто не требовал подвигов, никто не просил, не заставлял, не толкал меня к писательству, многих абсолютно устраивала Таня Москвина, способная девочка, иногда поющая в компаниях смешные песенки собственного сочинения. Некоторые даже любили такую Таню. Охотно печатали «критику». На это всегда был спрос – а я склонна идти туда, куда зовут, и делать то, что нужно. (Не без мистического оправдания: а вдруг это сама судьба выдаёт именно такой запрос...)

Чего же ради мне отказываться от жизни и преодолевать естественную лень тела, не желающего мучений? Детям нужна мама, мужу нужна жена, друзьям нужна подруга, издателям – острый критик, а писателя Москвину никто не ждёт и никому она особенно не нужна.

Кроме...

Да, вот это «кроме». Оно и вышло решающим.

Было начато несколько романов, но дальше десяти-пятнадцати страниц дело не пошло. Притом сочинение уже существовало во мне в виде зерна или ещё чего-то, таящего все возможности роста, и, будучи нерождённым, невоплощённым, не обретшим плоти, – томило и обременяло. Я ходила хронически беременной и не рожала. По-моему, именно от этого я толстела на физическом плане. Я мужественно боролась с собственным призванием. Я делала это вдохновенно и упорно. А призвание, со своей стороны, мучало и грызло меня, обременяя совесть чувством неисполненного долга. Но кому я должна? Это неизвестное лицо так и не отыскалось. Перед кем я оправдываюсь сегодня, указывая на книжную полку, целиком заставленную моими книжками и бормоча: ну нет, всё-таки, всё-таки... «Она что-то знала» – разве плохо? а «Жизнь советской девушки»? а вот пьески какие славные...

Но неведомая сволочь совершенно неумолима. Она равнодушно отмахивается от сделанного и злобно вопрошает: а где «Люди как цветы», где «Отец Вениамин, мать Ангелина», где «Путешествие Аграфены» и прочие, пока что не написанные мной сочинения, ради которых я обязана отказаться от посиделок с друзьями, от просмотра сериалов на планшете, от чудесной размеренной жизни на Шестой линии Васильевского острова, где есть всё: церковь, прокуратура, аптека, школа автовождения... Никаких объяснений тому, отчего именно ко мне привязался неизвестный, требующий, чтобы я писала, у меня нет. Как я пишу, я не знаю.

Опять-таки Шварц вспоминает: зашёл на дачу в гости к писателю Федину. А у того на столе – огромная схема с кружочками, квадратиками и стрелочками. Что такое? Оказалось, схема нового романа. Шварц в ужасе смотрит на это сооружение. Тут появляется писатель Эренбург. Шварц признаётся ему, что не понимает, зачем нужно чертить подобное. А как же! – строго отвечает Эренбург и вынимает из кармана свою геометрическую химеру. – Обязательно! И Шварц мысленно съёжился, оцепенел и пришёл к мысли, что он никакой не писатель вообще, потому что ему дико и странно рисовать схемы перед началом работы. Да, думал Евгений Львович (он нам поведал о том в дневниках), я импровизатор какой-то, не писатель... вон как настоящие писатели действуют...

Человек, за три недели создавший «Дракона», горевал, что никакими принципами работы не располагает, а так как-то – садится, пишет... Горевал, конечно, не вполне искренне. Возможно, схемы надо чертить – кому-то. Не Шварцу, который ещё в двадцатых годах не понимал, как литературное произведение можно объявить суммой приёмов... Добавим, что тот же «Дракон» идёт сегодня в десятках театров, а романы Федина и Эренбурга поглотила «медленная Лета» (значительно ускорившаяся в XX веке).

У меня тоже нет никаких принципов работы. Единственное, что удалось отрефлексировать: то, что я хочу написать, уже есть во мне, в виде, который я объяснить не могу. Эти образы волнуют и обременяют меня. Когда удаётся от них избавиться – а это возможно только путём их рождения/воплощения, – они удаляются от меня, став общим достоянием. Появляются новые. Опять рожать! Не хочу! Но при чём бы тут было «не хочу»... От хронической борьбы с собственным призванием я стала существом крайне беспокойным.

Эх, Самара-городок,
Беспокойная я...
Беспокойная я,
Успокой ты меня!

Если бы я нашла своё место в системе правоохранительных органов – а из меня, полагаю, мог бы выйти и толковый следователь, и убедительный прокурор, – беспокойства было бы куда меньше. Служи Отечеству да продвигайся по службе. Чин и мундир значительно успокаивают человека. Но в области моего призвания нет ни чинов, ни мундира. Кто я сейчас в своём деле, если пересчитать выслугу лет на военный лад? Лейтенант, майор, полковник? Люди измеряют свои достижения, чтобы успокоить себя, а поскольку мне не будет покоя, видимо, никогда, нет смысла добиваться «чина и мундира». Потому как Неизвестному, ко мне приставленному, на это чихать. Он никогда не отвяжется. Всё, что я могу, – вымолить себе задержку, отпуск, ретардацию месяца на два, на три. Чтобы каждый день своего отпуска с тоской вспоминать, что я опять провинилась и того-сего не написала.

И вот, приплывают два образа. Первый: на берегу озера в собственном доме сидит в творческом кризисе американский писатель. Он развёлся с женой и пьёт много виски. Бросил курить. Ему настойчиво звонит его литературный агент. Предыдущий роман нашего писателя пять месяцев держался в списках бестселлеров, и агент требует нового текста... Второй: в доме творчества сидит в творческом кризисе советский писатель, член Союза писателей СССР. Он пьёт водку и курит. Через две недели он должен сдать текст нового романа в журнал «Октябрь». Через месяц он должен представлять советскую интеллигенцию на зарубежной конференции по миру во всём мире. Жена и дочь писателя ушли купаться...

Всё это для меня – марсианские хроники. Я попала в ситуацию, когда у писателя нет билета на скорый поезд истории и твёрдого места в Системе. Получая аванс за книгу, не превышающий моей месячной зарплаты в газете, а писать книгу год минимум, я думаю: интересно, а зачем мы вообще пишем? Ведь писать ради заработка всегда было существенным мотивом для литератора. И народу понятно: человек деньги получает, не махая кайлом и не ворочая шпалы, это очень извинительно, чистая работа. Какие у нас бонусы? Встречи в библиотеках, редкие интервью, титул «писателя» перед фамилией? Получается, Неизвестный, который издевается надо мной, явился не только мне. И в его загадочных действиях уже нет никакого фактора соблазна. Ни малейших козырей в рукаве! Заманивать нечем. Он, гад, на совесть давит, требует долги платить, а кому и за что – не сообщает.

Радость творчества? Радость иногда бывает, когда я перечитываю написанное и оно мне нравится. Когда пишу, радость (удовольствие, наслаждение) не чувствуется с той непреклонностью, с какой она поглощает всё моё существо, если я бросаюсь в море. Нет, тут речь не о приятных ощущениях, их можно насобирать по жизни.

Речь о том, чего в жизни нет. О выходе за пределы тела. Об ужасном сверхскоростном расширении «я». О том, что ты – не очень-то ты, когда пишешь.

Хоть что-нибудь – хоть строчку, хоть дитя.
Вон из себя, из пагубной темницы,
Где мысли пленные по лавочкам сидят,
Смиранные девицы!

(Стишки юности)

«Вон из себя». Да, это единственное, что искупает подмену своей жизни – сочинительством. Даже если пишешь о себе, ты за пределы себя выходишь обязательно, поскольку осознать себя невозможно, не покинув своих берегов и не взглянув на них сверху, сбоку, снизу, как угодно. Наступает другое время и другое пространство. Много раз получалось, что я, очнувшись, понимала, что прошла вся ночь или даже сутки миновали. Что делала – знаю: вот он, текст, передо мной. Но – где я была?

О да, я знаю, что есть ещё, как пишут критики, «наша литература», а в ней «идут процессы», и ещё есть (видимо, как-то отдельно от «нашей литературы») «современные писатели»,

которые... которые что-то там. Мне вмиг скулы сводит от скуки. Пускай в нашей литературе бесконечно идут процессы. Я не против, только всё это о другом. Той отчаянной смелости Розанова, который воскликнул «Литература – это просто мои штаны», у меня нет, литература – не мои штаны, однако чувствовать себя химическим элементом – участником «процесса» я не в состоянии. С любопытством смотрю на писателей-современников, хотя с внешней стороны они непостижимы. До сих пор пытаюсь обнаружить связь между другом Пашей, с которым иногда задушевно пью водку, – и писателем Павлом Крусановым. Пока что связь эта мною не установлена. Нет, мы не элементы, потому как нас не определить, мы скрытные и хитрые. Похожи на участников какого-то заговора. «Заговор обречённых»...

А, ещё ведь есть «женский фактор». Не понимаю писательниц, как-то подозрительно рьяно утверждающих, что это неважно. Как это может быть неважно? В истории литературы есть один образ, живо меня волнующий. Госпожа Веницкая. (Печатавшаяся как Веницкая-Будзианик.) Эта самая Веницкая-Будзианик возникла в письмах Щедрина где-то в начале семидесятых годов позапрошлого века. Дама прибыла в Петербург из западных губерний и отправилась напрямик к действительному статскому советнику, главному редактору журнала «Отечественные записки» Михаилу Евграфовичу Салтыкову (Щедрина), который сидел в клубах табачного дыма, злодейски кашляя и кроя всех своих пьяниц-сотрудников матом. Госпоже Веницкой удалось привлечь внимание знаменитого сатирика. По-моему, он даже поразился. Судя по некоторым деталям, госпожа Веницкая пыталась Щедрина соблазнить. И просила настоятельно общего руководства. Что ей читать, как работать над сочинениями. Несколько растерявшийся Щедрин перенаправил госпожу Веницкую Тургеневу, сопроводив подарок письмом. Видимо, по представлениям Щедрина, именно Тургенев мог посоветовать даме, что ей читать. В письме он раздражённо заметил, что понятия не имеет, кто это такая и почему она Веницкая и в то же время Будзианик... Однако же госпожа Веницкая закрепила в столице. Писательницей она стала, её печатали. Те самые «Отечественные записки» печатали! Во всяком случае, через двадцать лет мы застаём Веницкую на конке, где она рухнула на колени перед Александром Чеховым, приняв того за Антона. Чувствуется пластика восторженного, взбалмошного создания, обуреваемого страстью-любовью к литературе. Пробыться в это время даже в третий ряд нереально: всё занято солидными бородами гениями, полугениями, четвертьгениями, но госпожа Веницкая, прибывшая из западных губерний (скорее всего, сбежала от мужа) со своими повестями (мне кажется, они были свёрнуты в трубочку и перевязаны ленточкой) и бесстрашно направившаяся прямо к великому Щедрина в редакцию единственного прогрессивного свободомыслящего журнала России, – не думала о месте в ряду. Она шла на грозу. Она пробивалась внутрь литературы. Она пробилась!

И ведь их были десятки, даже сотни – чаще всего полуголодных, бессемейных, чудаковатых, покрытых изначально густой тенью бесславия. Безвестные русские писательницы, я их люблю. Не сочувствую и не жалею, а просто люблю. Ведь если литература – Литература – вот такая, с большой буквы, и существовала, то существовала она прежде всего в глазах этой мечтательной идиотки, госпожи Веницкой. Нет, я обязана когда-нибудь написать о ней, потому как это – душераздирающий символ. Ещё один мой долг Неизвестному!

Не сердись, не наказывай меня. Подожди, я соберусь с силами, преодолею потерю близких, страхи за семью, отчаяние от слабеющей с возрастом плоти, преодолею тревоги, сомнения, бег времени, лень, трусость и желание просто жить, как амёбы живут. Прости, я немножко устала! Передохну и пойду. Сейчас, сейчас...

Обмани смерть

Рассказ

Споткнулась. На выходе из Смоленского кладбища на Камскую улицу. Март, и если где-то цветут каштаны, то в Санкт-Петербурге ещё повсюду гололёд, даже песочком не присыпанный. Я грузная, если падаю, или, вернее сказать, обрушиваюсь, то разбиваюсь в кровь. А она так ловко меня подняла, и не причитала по-бабьи, но деловито отряхнула серый мой пуховик. Сама-то в чёрном бархатном пальто с широким капюшоном и немного смахивает на колдунью из фильмов про всякую волшебную чушь.

Предложила мне посидеть в кафе на углу, отдышаться – почему нет? Я никуда не спешила. Взяли кофе и пирожное – я корзиночку, она эклер. Правильный тёткин набор. Но моя спасительница явно была тётка с вывертом – наверное, астролог, или целительница, или гадалка по картам Таро... Короче, мошенница либо сума-шайка. Или то и другое одновременно. Седые волосы до плеч, серебряные кольца. Поинтересовалась, не сильно ли я ушиблась, не больно ли мне теперь.

– Немножко больно. Но могло быть хуже.

– Конечно! – ответила седовласая в чёрном бархате, с непонятным энтузиазмом. – Могло быть гораздо хуже!

И фыркнула длинным бледным носом – дескать, уж я-то знаю.

– Я редко падаю, – ответила я. – За тридцать лет, что не убирают снег в Петербурге, бухнулась всего раз пять. И без переломов. Мне везёт.

Она посмотрела на меня снисходительно, как будто верить в свою личную везучесть в таком вопросе – это невинное и простительное заблуждение.

– А вы к кому приходили?

Не сразу поняла, что она говорит о кладбище.

– К брату приходила, у него сегодня годовщина. А вы?

Раз она спрашивает, отчего я не могу спросить.

– Я? – задумалась. – Я навещала одного человека, который наконец умер.

– Как это – наконец умер?

– Он должен был умереть двадцать лет назад. А умер – сорок дней назад.

– Вы этого знать не можете, извините, пожалуйста, кто когда должен умереть.

Марианна (она назвала своё имя, а я отчего-то соврала, объявив себя Ольгой, и какая из меня Ольга?) вздохнула и расстегнула пальто, приготавливаясь к рассказу, о котором её никто не просил.

1

Двадцать лет назад, когда мне было слегка за тридцать, я сняла крошечный домик в дорогом месте – под Зеленогорском. Домик принадлежал государственному дачному хозяйству и представлял собою дощатую коммунальную лачугу, поделённую надвое – одна комнатка и веранда, общая кухня и туалет, другая комнатка и веранда. Но в соседней со мной части никто не жил. Когда я въехала туда (предварительный осмотр делала на бегу и пристально не вглядывалась), то заметила, что зелёная краска со стен домика давно и сильно облупилась, однако на завтра явились две крепчайшего вида малярши и мгновенно перекрасили моё убежище в надёжный коричневый цвет. И вывели крупно, белой эмалью номер домика: 425. Ого! – подумала я. – Государство, значит, не вовсе исчезло. Оно затаилось, как медведь в берлоге. Копит силы...

На следующий день пожаловал плотник и починил крылечко с провалившейся ступенью. Через два дня привезли и подключили газовый баллон. Затем доставили три стула. Это всё мне было положено по закону, однако я и не мечтала об его исполнении.

Я всего лишь надеялась в тишине и одиночестве дописать свою книгу. Нет, не роман. Книга была... допустим, об искусстве. Книга об искусстве на момент 199... года не входила в число товаров повышенного спроса и никаких радостей жизни доставить мне не могла, но я должна была её дописать, потому что я всегда завершаю свои дела. Это вроде бы сильная сторона характера, и тем не менее она принесла мне немало горя и злосчастья. Не все дела надобно завершать и не каждую книгу дописывать. Даже не каждую фразу...

Я писала, не огорчаясь своим несовершенством. Настоящей способности писать, описывать, живописать у меня нет, но ведь эта способность сама по себе – не более чем занятная патология, вроде третьей почки или шестого пальца. Любопытная особенность, однако зачем она? Кроме способности писать, описывать, живописать, нужно ещё что-то, отвечающее на вопрос «зачем». Вот это «что-то» у меня и было. Немного, но было. Однако самый мизерный микрон этого вещества способен взорвать гору слежавшегося бытия. Если изловчиться и добыть его из себя.

Домики дачного хозяйства разбросаны по лесу, между ними нет заборов, земля в этих местах скудная, огороды мало кто держит и цветов немного. Календула, бархатцы да космея. Несмотря на высокую арендную плату, дачники держались за свои домики, старались не упустить их, хотя денежный барьер каждый год жёстко фильтровал контингент. Мне домик достался случайно, человек уезжал из страны насовсем и дал наводку. До Финского залива – километра полтора. Утром я съедала два яйца всмятку и писала книгу, от руки. Потом шла на залив. Если было лень готовить, обедала в кафе на берегу. Не будешь суп варить для одного себя, а я с детства к супу приученная. Потом я читала или раскладывала пасьянсы. Иногда снова бралась за писанину. Поздним вечером я сидела на крылечке, поставив казённый стул, курила и глядела в небо.

Сейчас эту чудесную картинку – как я завтракаю, как иду лесной дорожкой на залив, как смотрю на звёзды в ночном небе – смело бы в единый миг звонком мобильного телефона. Я была бы взмахом дурной волшебной палочки изъята из блаженного *личного* пространства и перенесена *туда, где все*. Туда, где тебя могут достать в любой момент. Но тогда кончался XX век, и человечку ещё дозволено было настоящее уединение. Раз в три-четыре дня я выбиралась в Зеленогорск, меняла книги в местной библиотеке и звонила по уличному телефону, который своим кондовым железом навевал обманчивую мысль о своей будущей долгой жизни. Агония вещей, в отличие от человеческой, никого не пугает – ненужные вещи понемногу делаются смешными и нелепыми, вот и всё. Начинался август, и звёзды налились спелым блеском, когда я услышала в трубке плач мамы с драматическим текстом «Он умирает!»

Привилегию умирать под плач мамы имел один человек – её муж и мой отчим Игорь Валентинович, совершенно ничтожное, на мой тогдашний взгляд, существо, бывший научный сотрудник, который уже несколько лет проводил свои дни у телевизора и ненавидел правительство. Зачем мама, энергичная пышка, вышла замуж за это маленькое очкастое недоразумение, я не понимала никогда – а сейчас, кажется, начинаю понимать. Он показался ей *надёжным*. Он, как ей грезилось, любил её. Он так мало походил на мужчин, от которых она натерпелась, что вроде бы гарантировал жизнь без обычных тревог. И вот наступил закономерный итог этого бессмысленного и безрадостного симбиоза – у Игоря Валентиновича диагностировали рак прямой кишки. В его засохшем насекомом тельце, оказывается, имелся полный набор потрошков...

Я не любила его с яростью, непонятной мне сегодня, – Игорь Валентинович, вежливый и аккуратный, никогда не обидел меня даже словом. Притом он вовсе не был бездарен, его ценили на работе, пока не развалилось само учреждение и ветер перемен не развеял пыль.

Видимо, меня отталкивало отсутствие в нём жизненных сил, тех питательных соков, которые поддерживают чёткий облик человека в пространстве и продлевают его во времени. Его, позднего ленинградского ребёнка, наверное, зачинали без наслаждения и рожали без крика. Но известие о смертельной болезни отца осветило эту жалкую фигуру белым пронзительным светом совести.

Отчего я так мало люблю людей? – думала я с грустью, глядя в ночное небо. Душа не летит им навстречу... Сейчас я одна, и можно представить, что Господь смотрит на меня в тысячу глаз, словно ждёт чего-то. Представить-то можно! Царь Соломон попросил у Бога мудрости, дай-ка и я удивлю Его – попрошу у Него... немножко любви к людям. Он удивится. Таких просьб не бывает. Никто не просит у Него любви к людям, потому как имеющий её идёт своим путём, а не имеющий – не испытывает в ней никакого недостатка. Любовь к людям – неестественное чувство, говорил же Христос: возлюби ближнего своего, возлюби, постарайся, сделай усилие. Ближнего, всего лишь ближнего – родного, друга, соседа... Не получается, Спаситель! – отвечаем мы и старательно не слышим, как Голос печально спрашивает: А вы – пробовали?

И я решила попробовать. В самом деле, мыслимо ли это – близкий человек умирает, ведь я его знаю с моих девяти лет, ведь благодаря ему живу в своей квартире, потому что он отдал мне жилплощадь своей покойной мамы, ведь это он давал мне советы по чтению, толковые и оригинальные, и даже один раз водил меня в Русский музей, героически преодолевая страх перед жизнью (редко без явной нужды выходил из дома)... а я бесчувственна и равнодушна к его судьбе-злодейке (ибо рак прямой кишки гарантирует унижительную кончину в неизбежных мучениях). Что со мной, почему я так закаменела? Я, человек с подвижным умом, с явно ощущаемой душой?

И всё смотрела, всё смотрела в небо – а небо смотрело на меня.

2

Быт мой в домике № 425 сложился на диво скоро и прочно. Я привыкла к его скудной размеренности и радостно предавалась своим, возможно и ненужным никому, трудам и дням. Мамин плач разбил шаткое равновесие, которое я так старательно искала, отравил покой и тишину... Хотя, надо заметить, звуковая жизнь вокруг моего убежища не была идиллической. Побережье Курортного района погрузилось в драматическую пучину классового расслоения, и рядом с нашими скромными государственными домиками тут и там возводились галлюцинации – кирпичные замки в несколько этажей, с окнами-бойницами, мезонинами, эркерами, шпилями и могучими заборами метра в три высотой. Шум стройки к вечеру затихал, однако начинался праздник на берегу. В те годы всякое массовое веселье сопровождалось блатными песнями, которые дикие люди именовали «шансоном», и звук шансона вполне мог поспорить по своей убойной силе с дрелью и отбойным молотком. Однако часам к двум ночи и лютый шансон давал шанс на сон. Наступала власть первобытного безмолвия... Итак, когда я глядела в небо («ночи августа звездой набиты нагусто») и корила себя за равнодушие, стояла та самая тишина, в которой светляками плавают строчки из самых лучших стихов на свете, иногда залетая в головы неспящих... Выхожу один я на дорогу. Тишина – ты лучшее из всего, что слышал. То, что есть в тебе, – ведь существует. И море, и Гомер – всё движется любовью. Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу. Кто я, что я, только лишь мечтатель. Сам я и беден и мал, сам я смертельно устал... Господи! – взмолилась я, на миг утратив тело и превратившись во что-то, – Господи! Пошли мне *немножко любви к людям!*

И времени не стало.

И меня не стало.

А потом я появилась.

И опять исчезла.

3

Назавтра я отправилась в город, на родную Вторую Красноармейскую улицу, где так славно проводила детство (отчего-то память подкидывала красных леденцовых петушков по пять копеек, с вожделием приобретаемых на рынке возле Троице-Измайловского собора, «где венчался Достоевский» – уточняет занудный экскурсовод в голове). Славно проводила, да, пока вместо отца – повесы, физиономия которого скрылась во мгле, – мама не привела в дом мухортика с бледным треугольным личиком и не стала называть его «наш папа». Я не возражала, поскольку чеканить каждый день по многу раз «Игорь Валентинович» стало для меня главной формой протеста. Выслушав рассказ мамы про больницу и врачей (мама верила в «хороших врачей», а у меня отношение к ним было, точно в фарсах Мольера), отметив про себя, что матушка моя по-прежнему симпатична и отлично выглядит для своих лет, выгребла я из себя небольшие деньги для наступившего в семье чёрного дня, навестить Игоря Валентиновича отказалась и утянула тайком его фотографию. Для этого и приезжала.

Я сделалась крайне осторожна. Некоторые признаки *исполненной просьбы* уже ощущались – матушка нисколько не раздражала меня, как обычно. У неё была манера, выводившая меня из себя, – повторять одно и то же, особенно когда речь шла об одном и том же. Говоря о своей матери, она неизменно восклицала: «Твоя бабушка мне сказала – когда я умру, ты будешь меня вспоминать каждый день, каждый день, Елена! И я её вспоминаю теперь каждый день!» Но на этот раз заезженные мамини «пластинки» я слушала безмятежно. Фонтанчики злости прекратили свои нервические танцы, и в душе томительно разливалось ласковое огорчение, с каким видишь морщинки на родном лице.

Фотография Игоря Валентиновича нужна была мне для того, чтобы обмануть смерть.

Я намеревалась, вернувшись в дом № 425, сесть на свой казённый стул под звёздным небом, дожидаться тишины и, окунувшись в забивший внутри меня родник, каким-то образом отвести беду. Рассказывать о своём идиотском плане я не имела права никому, и я никому и не рассказывала – сегодня впервые. Да кто бы мне поверил, и вы не верите, и правильно делаете.

Вечером я стала готовиться к *сеансу*. Я не зажигала свечей, не варила колдовского зелья, не бормотала заговоров и приговоров, не переодевалась в магические одежды. Решительно ни в какой транс я не впадала. Села на крылечке с фотографией Игоря Валентиновича и, упершись взглядом в небо, стала утверждать – ментально, без звука, – будто этому человеку непременно нужно остаться жить.

И мне словно бы ответили. Кто-то будто бы спросил, почему я так считаю и отчего именно этот человек должен остаться жить. Аргументы?

Аргументы... Его слабая, травоядная, но несомненная доброта, робкая и отчаянная в то же время любовь к маме. Я вспомнила, как вдохновенно он читал мне «Алые паруса» Грина и забирал из больниц после моих особенно лютых ангин с осложнениями и прочих хворей, которых в массовом изводе теперь и нет уже. С каким уважением говорили о нём сослуживцы по конструкторскому бюро, иногда заходившие в гости на его день рождения – в феврале. Я отстаивала его несомненную порядочность и моральную чистоту, особую ленинградскую щепетильность и деликатность. Я прошу за него, я молю за него! Разве недостаток жизненных сил – это порок? Это же просто свойство, причём от человека не зависящее. Не положили феи в колыбель! Слабость – грех? Да, он не боец, но это мало кому дано. Несомненно, что Игорь Валентинович, до сих пор выписывавший все литературные журналы, жил бурной внутренней жизнью образованного человека, и называть такого человека лишним – преступление против истины. Он нужен маме, он нужен мне. Он ничем не заслужил такую мучительную смерть. И

пусть, я знаю, в этом пункте никакой справедливости нет, я прошу за него, я молю за него, я вступаюсь за него!

Если бы небеса могли пожать плечами, они пожали бы плечами.

Я поняла, что уже гоняю заезженные пластинки, наподобие своей мамы, и с наслаждением исчезла. В ту ночь я спала без снов.

4

Утра не было (лежала в постели, ожидая приступа аппетита, но он не явился), пыталась было писать – не покатило, еле-еле заставила себя отправиться в Зеленогорск сдать томик Лескова, чтобы взять какой-нибудь английский роман страниц на семьсот. Позвонила маме...

Что?

Это точно?

Да! Новый врач всё перепроверил и отменил диагноз – у него не рак прямой кишки, а всего лишь полипы, полипы, полипы, его послезавтра оперируют...

Она кричала, захлёбываясь от радости. И даже не расслышала моё загадочное для неё – «так быстро...» Ноги не шли, и я присела на скамейку в сквере с единственной мыслью: всё, что произошло, я должна срочно забыть. Мечтая о чуде, люди предпочитают забывать, что они никак не приспособлены к его восприятию. На все нарушения обыденности тело отвечает одинаково...

Проклинают или восхваляют сейчас девяностые годы, мне, в сущности, безразлично; я знаю только, что то было время *превращений*, когда в плотно слежавшейся жизни пошли разрывы, прорехи, дыры, то есть когда та жуть, что изображает из себя *действительность*, перестала ею притворяться и показала свою настоящую морду. Жуть – не значит зло, жуть – это всё, что «за гранью», ведь и Христовы чудеса были жуть: попробуйте, представьте себе воскресшего Лазаря. Ведь он уже тлел, вонял. В то лето я могла сойти с ума и вообразить себя чудотворицей, но я подыскала успокоительное объяснение – сосредоточенная и одинокая жизнь моя, которую я невольно излучала в пространство ночной тишины, проникла в неведомую прореху реальности. Я уверена, что в Ту Ночь никто ни в Зеленогорске, ни на всём Карельском перешейке, может, и во всей области, да не во всей ли стране? – не сидел под звёздами и не просил о чуде, тем более о таком чуде, о котором умоляла я. Поток ночных просьб и жалоб Тому, в Кого днём мало кто верил, не отягчал атмосферы. Вот и получилось... Но поставить эту историю на поток мне в голову не пришло: молений под звёздами я не повторяла более никогда. Вы, может быть, глядя на меня, подумали, что я промышляю эзотерикой? Нисколько: я в маленьком кукольном театре работаю, в литературной части. Плащ бархатный достался мне из одной сказки, снятой с репертуара, – там фигурировал волшебник *жэпэ*, то есть живым планом, в полный рост. Теперь уже редко увидишь кукольный спектакль в чистом виде, без *жэпэ*...

Зависнув в запредельной точке, жизнь двинулась дальше своим чередом. Книгу я дописала, и её даже издали. Не было ни одной рецензии.

5

Игорь Валентинович благополучно вышел из больницы – это мало кому удаётся, по моим наблюдениям, чаще всего туда привозят человека с небольшими проблемами и вывозят вперёд ногами, а здесь совершенно наоборот вышло, – и зажили они с мамой по-прежнему, то есть мама бегала в поисках денег, нанимаясь то воспитателем, то домработницей, а Игорь Валентинович плотно обустроился дома. К докторам он более не обращался никогда, не было ни малейшего повода.

Через несколько лет случилась история: маму разыскал её однокурсник по институту, живший в Америке. Немного за шестьдесят, ещё свежий парень, он схоронил жену и, в глубоких размышлениях о дальнейших перспективах, решил, что мама – наилучший вариант. Евреи знают толк в источниках энергии. Человек обстоятельный, он заявился в Петербург на солидный срок, чтобы не спеша уговорить маму переменить участь. Он давно знал, что брак её несчастлив. Он вообще всю жизненную дорогу, со времени их расставания, приглядывал за маминой судьбой краем глаза. Шансы у него были весомые: малых детей на руках нет, имущества с мужем делить мы не станем, а просто в один чудесный день сядем в самолёт с серебристым крылом. Что, взлетая, оставляет земле лишь тень.

Как ни прячь свои натруженные руки с напухшими жилками под спасительный занавес белоснежных скатертей дорогих ресторанов, придётся эти руки пускать в дело, брать бокал за тонкую ножку, выслушивая тост «За тебя, дорогая», клацать вилкой и ножичком, разрезая стейк прежде невиданной толщины... Мама делала вид, что она думает, решает, колеблется, хотя всё решено было мгновенно. И тут же придавлено могильной плитой по имени Игорь Валентинович. Она только заикнулась о том, что Юра приехал, и знаешь, у него жена умерла, и он... как Игорь Валентинович хладнокровно ответил: «Уйдёшь – я повешусь».

Рассказывая об этом, мама слезоточила, а я, которая могла – могла бы раньше! – рявкнуть «Уезжай немедленно! Пусть вешается!», молчала, признавая роковую власть слабых над сильными. Я была виновата безнадежно и неисправимо. Я обманула смерть, пусть с верховного попущения, но обманула, я вмешалась в судьбу – как теперь выяснилось, нескольких людей. Умер бы Игорь Валентинович, как ему было положено, несколько лет назад – и мама сегодня выходит за однокурсника и уезжает с ним жить-доживать, а уж где лучше доживать, мы сейчас спорить не будем. Мелькнула картинка несбывшегося – как мы с мамой гуляем по Нью-Йорку, мама такая весёлая, такая элегантная... Но я молчала. Опровергнуть лично мной вымоленное чудо? Признать, что было оно никому не нужно? Что я совершила оплошность и продлила бессмысленное существование индивида, уже ни в каких планах мироздания не означенного?

Я ведь даже не могла объяснить маме своё молчание – а она рассчитывала на поддержку, зная мою нелюбовь к Игорю Валентиновичу. Надеялась, что я выстрою нужный порядок слов. Докажу, что бросить старого нелюбимого мужа и начать новую радостную жизнь в другой стране – абсолютно правильно и необходимо.

Но я посмотрела маме в глаза и сказала: «А если ты уедешь и он повесится?»

Этот вопрос, который мама задавала сам себе тысячи раз, озвученный мной, – уничтожил развилку судьбы. Более никаких дорог и развилок в жизни мамы не стало. Одна колея.

6

Они понемножку опускались. По мере угасания сил мама прибиралась всё реже и невнимательней. Она более не держала в уме стратегии уборки квартиры и расчищала отдельные уголки. Гостей не принимали и сами никуда не ходили. Игорь Валентинович перестал мыться, бриться и стричься, отчего в его облике произошли сказочные изменения. Главная причина облысения современности – это моющие средства; отринув их в принципе, Игорь Валентинович оброс густейшей шевелюрой и мощной бородой допетровского боярина. Вы представили себе седовласого старца? Вот уж нет! Игорь Валентинович сидел в кресле у телевизора чёрным вороном с лёгкой проседью и по-прежнему ненавидел правительство. Главным делом жизни мамы на ту пору было заставить его что-то съесть. Танцующей соблазнительной походкой примадонны музыкальной комедии три раза в день она подходила к его трону с тарелкой в руках и зазывным голосом объявляла состав и способ приготовления поданного блюда. Но он ел лишь один раз, вечером, перед тем как неспешно накушаться водочки. В пьяной своей ипостаси он что-то тихо шептал, а иногда тоненьким голосом пел лирические песни советских композито-

ров или Окуджаву. Неистов и упрям, гори, огонь, гори, на смену декаблям приходят январь. Не скандалил. Бывало, что плакал.

Нет, он никуда не ходил, он спускался вниз по лестнице, поскольку магазин располагался в цокольном этаже дома. Там приобретал сразу несколько бутылок, на всю неделю, обычно четыре или пять, поскольку не выпивал всю бутылку за вечер, иссохшее тельце столько не принимало. Его живописный облик приводил в восхищение хозяина магазинчика, и тот неизменно выходил из своих недр и затевал с Игорем Валентиновичем беседу. Хозяин считал его умнейшим и образованнейшим человеком и специально распорядился, чтобы этому господину продавали самую лучшую траву из возможных.

Мама перестала работать – пенсии на такую жизнь хватало.

7

Не стану лицемерить – я надеялась, что он умрёт первым и мама освободится. Хотя смысл этой свободы был неочевиден (однокурсник вскоре ушёл из жизни). Я не могла выносить запаха их квартиры. В один из визитов я обратила внимание на то, что, похоже, ванной уже никто не пользуется, и в полном ужасе (мама была чистюля, обожала мыться!) установила в доме душевую кабину. Дачи своей у нас не было, мы обычно снимали на лето, и некоторое время маме удавалось вывезти туда Игоря Валентиновича, даже после... после этого... после того как рак прямой кишки оказался полипами, три или четыре года мама проводила на свежем воздухе, на нашем возлюбленном и желанном свежем воздухе, чей обворожительный и бессмысленный призрак так манит нас. Но потом Игорь Валентинович сделался решительно невыездным.

Много ли на свете людей, которые вправду дорожат нашими удачами и тревожатся из-за наших горестей? Я, справляясь с брезгливостью (в маминой квартире ведь ещё и кошка бродила, худая трёхцветная дура, обожавшая Игоря Валентиновича и презиравшая маму), навещала «предков» и с удовольствием поедала мамины пирожки. Из них всё-таки сочилась тёпленькая субстанция бескорыстного внимания ко мне. Конечно, тяжелее всего было видеть плод своего преступления – Игоря Валентиновича, – но я сумела как-то и память свою обмануть, занавесить роллером картинку той ночи, когда могло сбыться что угодно. За себя могла попросить! А вымолила продление чужой, ненужной и неприятной жизни... Но что-то подсказывало мне, что за себя бы – не получилось. Потому и вышло, что – за другого просила, и это неведомый мне закон, то есть уголок, краешек закона, который мне показали, а никогда прочесть не дадут.

Между тем жизнь залатала прорехи, и её рваная материя, откуда сквозила жуть, превратилась в тугое полотно, куда жуть была преспокойно вплетена. Появились мобильные телефоны, из аксессуара богатых став обыденностью всех. Государственные лачуги в Курортном районе стали постепенно сносить, но не враз, а по мере хитроумных комбинаций людей, оседлавших *своё время*. Свои приключения случились и с мистикой – она сделалась абсолютной коммерцией, так что порядочному человеку было стыдно даже рассуждать о «тайнах бытия», а не то что признаваться в личных мистических приключениях.

Однажды маму увезли в больницу, к «хорошим врачам», где она и скончалась в одиночестве. Игорь Валентинович до кладбища не добрался, сидел дома и рыдал. Всё упало на меня – поделом, поделом. Почти три года потом я колготилась вокруг этой – угасающей, но неугасимой! – жизни, о неизменном течении которой мне докладывала за небольшую плату соседка по лестничной клетке. Если я приезжала днём, Игорь Валентинович подробно и надо заметить, талантливо проклинал правительство; если вечером, то, уже наклюкавшись, вёл речи о том, что «не уберёт я маму» и «слабый я человек, вот ты, Марианна, сильный человек, а я слабый человек». Когда умерла кошка, он перестал говорить вообще, и это бы ладно, если бы

одновременно он не перестал и добираться до уборной на своих тощих сухих ножках. Он слёг. Держал у кровати бутылочки, в которые писал. Кучки же редкого кала заворачивал в газеты и складывал за кроватью. Такого родственника я от души желаю всем противникам эвтаназии.

Сорок дней, как он умер, – человек, который должен был умереть двадцать лет тому назад. Удалось подхоронить его в могиле матери – не моей, матери Игоря Валентиновича. Я нарочно хлопотала, чтоб ему и моей маме рядом не лежать, и крепко надеюсь, что Всевышний отобрал у меня свой подарок – «немножко любви к людям». Мне он ни к чему оказался, а кому-то, может, и впору будет... Рассказала я вам эту историю в первый и последний раз.

Что я могла сказать Марианне в ответ? Человеку, который мог безмерно много, а сделал удручающе мало? Впрочем, как все мы. Почти все.

Мы с ней простились, и я пошла направо – к своей машине, а она налево – на маршрутку.

Сестра трезвость

Повесть

Часть первая

Пятница, 15:30

Нагрузилась, как верблюд. В эту прорву только зайди! Сколько зубы себе ни заговаривай (я только курочку... я только картошечку...) – соблазн неодолим. Глаза горят, вождление хватает за горло, пища лежит грудками... В пальцах даже какое-то возбуждение. А у меня бабушка была блокадный ребёнок. Я наслушалась её рассказов до отвала. «И папа на день рождения подарил мне десять омлетов из яичного порошка». В окрестном нашем дачном лесу, помню, завела аварийный огороδικ на случай новой блокады... Тайно поливала свою резервную картошку, редиску. Даже огурец один раз проклюнулся и расцвёл, но плодоносить раздумал.

Я не голодала ни дня в своей жизни.

Низкорослые и тощие блокадные девочки, став бабушками, вдохновенно откармливали внуков, оставаясь такими же низкорослыми и тощими. Но ведь блокады не будет? Разве это может повториться? А кто его знает. Она как мир бодро поехал на саночках с горы. Всего-то лет пять назад существовала вера в какой-то *цивилизованный мир!* Где, завёрнутые в подарочную обёртку, нас так терпеливо ждали сладкие *общечеловеческие ценности*.

И под фантиком оказалась пустышка. Что ж, нынче жизнь стала проста, проще некуда: вот моя пещера, а вот твоя – и чтоб ко мне не совался... так что иди, Катерина, за едой, потом еду приготовь. Потом съешь. И покачай. И вот я пришла, и какое там «только курочку». И того похватает, и сего, и результат один: к кассе ползёшь путём всякой плоти, тележка доверху.

Как я это попру? Два пакета раздутых, с логотипом гадского торжища – и я за них, за кусок говённого пластика, ещё и кровных шесть рублей отдала, иду и рекламирую крохоборов. За пропаганду своей адской сетки они с терпил ещё и деньги берут. Пакеты в магазинах должны быть без рекламного принта вообще. Или Цоя тогда лепите. За Цоя три рубля не жалко – тому, кто в восемьдесят седьмом, во Дворце молодёжи, видел, как он первый раз пел «Группу крови». Я и видела, да. На другой планете живя...

Как я это попру – вопрос риторический, скорбный всхлип. На себе и попру. Мелкими тихими шажками. Помолясь, Катерина, помолясь. От гадского торжища до моего дома девять-сот тридцать шагов. Однажды сосчитала, в подражание Раскольникову. Но безбытный (то есть с ужасающим бытом) юноша мерил путь от своей норы до старушкиной. Чтобы затем старушку прихлопнуть. И прихлопнул. Все мечтают – а он сделал. Раскольникова не было? Выдумка автора? Хорошо бы нас с вами кто-нибудь так выдумал. А то пыхтим тут – никому не нужно, да и ёкнемся – никто не заметит... Говорят, это психоз (шаги, ступени считать), душевное расстройство. Нет у меня никакого психоза. Я хозяйка дома – домохозяйка, – я цель этого мира. Цель, к которой двигаются или в которую стреляют? А без разницы. Здесь всё для меня! Чтоб я глазела и покупала, покупала, покупала... Я не бунтую. Я покупаю. На всём моём бесхитроном облике (шея короткая, живот толстый, руки-цапки, ноги-столбики) стоит печать: муж и дети. Любой скажет – и вот идёт она, посетительница сайта «Похудеть за две недели».

То есть баба-дура. Ни один мужчина на такой сайт не зайдёт. Мужчине если втемяшится похудеть за две недели – он похудеет за две недели. Или не похудеет. Только баба-дура будет разглядывать весёлые картинки: слева она (её сестра по биологическому виду) – справа она же, в своих грёзах. Между левой и правой картинкой нет никакой связи, это две разные бабы-дуры, но ты же не скажешь: надувательство! Ты вздохнёшь – надо же, вот ведь как, до чего

изменилась женщина... И закажешь (ну, на пробу) чудо-таблетки, которых «нет в аптеках, потому что выпущено ограниченное количество препарата, приобретаете три упаковки – четвёртая бесплатно».

Это пение ангелов – «бесплатно»... Какой разум не выключится при пении ангелов, а? Ваш не выключится, потому что вы это пение не слышите, – а мы слышим. И потому мир для нас вечно жив, радостен, свеж и полон чудес, и это для нас раскрыты двери гадских торжищ, для нас водопадом льются фильмы про потерянных и обретенных детей, и вдохновенное враньё астрологов, и «сниму венец безбрачия», и матрацы со скидкой 60 % – всё для нас. А вы идите и обсуждайте поведение левой ноги Тирана и кого сегодня приморили в стране, о которой вы делаете вид, будто знаете, где она на карте.

Я не знаю, где находится Сирия. И что там за мутня. Это ещё с Югославии повелось – когда по телевизору ничего не объясняли, а с важными рожами толковали так, будто всё всем известно и понятно. Я давно привыкла отключаться, когда они начинают. Не первая зима на волка – длиной в сорок девять лет отхвачена дистанция. И с этим обычным своим индюшачьим видом они кулдыкают опять про «брикс» и «опекс», прекрасно зная, что на русской равнине никто не ведаёт, что такое брикс и опекс. А, опек.

Насрать мне на Сирию. На брикс и опекс тоже. Мне уже на всё насрать, кроме семьи. Ещё – смерть... Музыка – иногда.

Триста пятнадцать шагов прошла, пора пакеты тюкнуть о землю, плевать, что мокро, – не могу больше, руки ноют. Плачут-воют, но – не отказывают в работе смиренные руки мои. На кой же ляд я капусту купила! На тот ляд, что задуман был борщ, и что теперь? Борщ без капусты? Кочан взяла самый маленький, но капуста такая сука, что и маленький кочан у неё как чугунный. Капуста в сумке – горб на спине...

Овощи пока дешёвые, жить можно. Вопрос только в том, кто эти овощи притаранит из магазина. Приходят в голову разные пустые мысли – поручать овощи так называемым «мужчинам в доме» (муж, сын). Пустые, ибо: или забудут, или купят абсолютно не то. Не тем их мозг, значительно мой превосходящий, занят. Там Сирия. Сирия не дремлет! Не эта Сирия, так другая. Юра говорит: закажи по интернету. Девятьсот шагов от дома до магазина, и я буду заказывать курицу по интернету? Когда мне исполнится семьдесят пять, мне будет положен социальный работник. Вроде бы. Сладостный призрак грядущего социального работника иногда является мне в мечтах.

Осень в среднем регистре (начало октября). Район Купчино. Будапештская улица. Считается, что я живу в Санкт-Петербурге, хотя я живу «где угодно» – по фотографии, ежели кириллицу в кадр не поймать, даже страны не разберёшь. Социальное, панельное, спальное! Я живу везде. Моя массовидность меня несколько не раздражает – я же знаю, что внутри обитает крупная оригинальная индивидуальность. Четыреста семьдесят шагов прошла, надо снова делать привал.

Да, напкупала, а есть нечего, в сущности говоря. И – невкусная стала еда. Я же здесь с восьмидесяти первого года обитаю, с моих тринадцати лет, и ходила я тогда в магазин «Гастроном», который снесли... а, лет восемь назад. Продуктов там было не слишком много, но то, что было, – имело вкус. Не я постарела, твари, а еда была простой, добротной и вкусной. Да, тощие синие курицы с когтями – однако с них какой бульон! Картошка грязная и наполовину гнилая шла по транспортёру – но то, что удавалось выбрать, поедалось с наслаждением! Дивная сахарная плоть. А глазки и червоточины мы ловко и быстро ножом выковыривали... А молоко в бумажных треугольных пакетах – оно же скисало, где вы теперь найдёте скисающее молоко? А докторская колбаса – она через два дня на срезе зеленела и подванивала покойником, стало быть, в ней мясо было. Теперь срез докторской мгновенно задубевает и скукоживается по краям в неких багрово-коричневых тонах. Что там вместо мяса – какой-то клей, наверное. Боги мои, демоны мои, невкусно мне, невкусно!

Ещё полста шагов – и катастрофа. Я давно подозревала, что пакет в правой руке теряет волю к жизни – так, кажется, Шопенгауэр формулировал? (давно училась, да и не закончила), – оборвалась ручка, брякнулся пакет и посыпалось, о, Катерина, о... а там, в правом-то пакете, бутылочка водочки была... была и есть. Потеря нет – только экзистенциальный ужас пограничной ситуации (кажется, так?): продукты на земле, запасной сумки нет. Что можно сделать. Можно часть продуктов переложить в личную сумку, ту, что всегда на плече и в которой хрен его знает что. Остальное попытаться унести, захватив рукой пониже места обрыва, как мешок поволоочь.

И подбегает ко мне женщина. С виду – сестра моя, баба-дура лет на десять постарше. В шерстяном коричневом пальтишке и шляпке колокольчиком. Шарфик розовый, с котиками. И в кроссовках. Ой женщина, ой давайте помогу.

Шляпка меня насторожила – женщины в шляпках почти все ку-ку. Сто лет назад женщины без шляпок были ку-ку, а теперь по всем то есть траекториям перевёртыш сделался.

И достаёт эта шляпка пакет! Не дурной пластиковый – божественный матерчатый, в крупную клетку. Не пакет уже это, а Сумка! Ой ну что же вы столько набрали, ой надо себя беречь... Лицо ясное, свежее, морщин мало. Не толстая. Вообще – доверие вызывает, только вот в голосе какой-то певучий сахар, как у свидетелей Иеговы. Лет пятнадцать тому назад бродили по району... Такие дамочки обычно пишут в комментариях на патриотических форумах: «Люди, какие вы злые! Надо любить друг друга! Всем добра!»... Но в жгучую минуту нормальный человек всякой помощи рад. Ой давайте я вас провожу, вы рядом живёте?

Я киваю, благодарю, но смущена. Обрыв пакета – конечно, мелочь жизни. Но вся моя жизнь как раз из мелочей-то и состоит. И получается, я опять не справилась с жизнью, и кто-то вновь мною недоволен: дура какая, мешок с едой уронила.

А когда-то мне говорили: умница!

15:50

Остальные все шаги пролетели в тот день и вовсе незаметно – до подъезда моего дома (кирпич, девять этажей) шествовала я налегке, с одним пакетом, а моя спасительница несла второй, с оборванной ручкой, заботливо переложенный в её сумку. Моя экзистенциальная сестра, конечно, знала, что и такой, обрушенный, пластиковый пакет может пригодиться в хозяйстве. Мало ли что! Селёдку на нём почистить. И тогда только бесповоротно уже выкинуть, с костями, кишочками и запашком.

На газете селёдочку чистить? Смешно. Какие сейчас газеты, кто их видел. Отшумело. А полезная была в хозяйстве вещь – под обои их слой клеили, попу вытирали. Свинцом-то! Правильная формулировка: гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей. Свинцовые жопы, класс. Как раз на такой жопе можно было высидеть единый политдень. Забыли! Политдень советский единый-то. Когда с утра до вечера сливали в голову *политинформацию*... Всё забыли эти бляди... А цену на водку свято помнят – два восемьдесят семь, три шестьдесят две, четыре двенадцать... Да, газетки. Некоторые и ели с газетки. Совсем не обязательно, что конченные алкоголики – например, ремонт в разгаре или на дачу приехали и ещё не обустроились, всякое такое. Постелить, если вожди – вождями вниз, и получается бумажная скатёрочка с приятным буквенным дизайном. Но сначала прочесть, конечно.

Мы читать любили. Мы мечтать любили... Вообще – любили. Потому что были...

Я пыталась выписать газеты, но ящики почтовые в нашем доме чистят под ноль, а сосед Ильич утверждает, что никто посторонний не ворует, а всю почту забирают себе сами почтальоны. Даже квитанции из налоговой приходят через два месяца после отправления.

Жаловались. Бесплодно...

Почтальоны воруют почту? Почему бы нет. Веселее, ты в системе.

Сестра в шляпке ворковала непротивно – зовут Ирина Петровна, и живёт она не здесь, а шла на автобус от подруги. *Которая сорвалась*, но что такое «сорвалась», Ирина Петровна не поясняла. Когда дошли до парадного, Ирина Петровна ошеломила царским подарком – махнула рукой в ответ на предложение вернуть сумку. Да что вы! Берите! Ерунда какая! Раз так, обменялись телефончиками.

И всё было дивно. И даже солнце вдруг выглянуло на нас посмотреть – с чего это мы улыбаемся и разливаем вокруг себя милоту и приятность. Рехнулись, что ли, дуры – кругом джунгли.

А напоследок моя Ирина Петровна малость подгадила. Ввинтилась в меня глазами и спросила своим приторным напевным голосом: «Вы меня извините, Катенька, но я человек опытный, старше вас, я сразу всё вижу, и вы не обижайтесь, ради бога. Вы... часто употребляете?»

– Что-о?

– Там, в пакетике... водка...

– Вот это совершенно не ваше дело, Ирина Петровна, что у меня в пакете!

– Я понимаю... сразу агрессия... значит, это серьёзно.

– Что – серьёзно?

– Понимаете, Катенька, если вы так нервно реагируете, значит, вы пьёте тайком, одна, а хуже этого для женщины ничего быть не может. Стыдитесь, да? Скрываете? В запас купили? А дома, на кухне, в самом заду шкафчика, небось, ещё стоит граммов сто?

Стояло – сто пятьдесят. Я онемела.

– Вы сначала держали Это за мусорным ведром, но туда мужчины иногда суются – мусор взять на вынос, и был случай, вы спалились, но он не понял. Решил, вы этот недопив туда случайно сунули... Я тысячи таких историй знаю, Катенька. Позвоните мне, приходите *к нам*... Мы вам поможем...

Нет, но наглость какая! Я что-то злобное буркнула в ответ и потопала домой. И солнце в ту же минуту скрылось – дескать, теперь всё правильно, а то *тётеньки-идиотеньки* опять изображали на помойке рай земной.

Так прихватила меня сестра Трезвость и так началась эта история.

16:05

Мы живём на первом, но довольно высоком этаже – чтобы дотянуться с земли до наших подоконников, нужно быть двухметрового роста. А воры сплошь дегенераты, мелкашня, и никогда такого роста не бывают. *Наши воры*, из новостроечек. Не те воры, что сами знаете кто... Нас ни разу не обворовывали, только у Юры в подъезде два ублюдка отжали телефон. Но это он сказал – а может, сам загнал. Его подростком так крутило, что он в метре от тюрьмы прошёл. И в двух – от могилы. Чуть в процент не попал, в тот самый. Идёт навстречу стайка выпускников школы – из десяти троих через пару лет не станет.

Мальчишек, конечно. Девочки все уцелеют. У девочек миссия: через тридцать лет после выпуска их, пьяненьких бывших мальчишек, по домам развозить. Тех оставшихся, кого миновала очередная Сирия. И пощадил рок семнадцатилетних.

Входная в квартиру дверь у нас вполне солидная, металлическая и реечками деревянными обитая, с девяносто третьего года стоит и не рыпается. И квартира – дай бог всякому такую квартиру – шестьдесят два метра, три комнаты. Это моих родителей. Я когда замуж вышла (в девяносто втором), они на дачу переехали. И долго там держались – четыре года назад только умерли, с разницей в полгода. Папа первый.

По деньгам тогда обрушение было – два раза похороны! Чёртовы похороны. Но они запасливые были, мои родители, и кое-что оставили. Мама лет десять каждую речь ко мне начинала торжественно – «Екатерина, когда я умру...» И притом ни минуты в эту гипотетическую смерть

она не верила. Однако же после её смерти в мамином аккуратном портфельчике с документами я обнаружила письмо ко мне, и оно начиналось тем же пафосным «Екатерина, когда я умру...»

Мамочка была глуповата.

Я не злобствую – это факт. У мамочки был женский ум (и даже некоторый *женский талант*, то есть способность привлечь и повязать мужчину), а женский ум... так я вам и сказала, что это такое, ага.

Теперь моих родителей нет, и я осталась «за старшую» – а какая из меня на хрен старшая?

У Васи (мой Вася!) мама ещё медленно тает в двух комнатах на Чайковского, ей восемьдесят три года, и дело может затянуться, потому как ежели восемьдесят первую версту проскочил, то можно и дальше ехать. Осторожно, конечная остановка – это когда 79–81. Некоторым не дают дотянуть до восьмидесяти, некоторым разрешают ещё немного ползти. А потом наступает загадочная стабилизация. Дали тебе отметить 80 лет или не дали – признак того, довольны тобой Силы или нет. Это моя личная гипотеза, и проверить её лично мне вряд ли удастся, мой рубеж – шестьдесят три годика, вот форсирую когда и если, буду думать про всё остальное...

Или – не буду. Дома никого не должно быть, никого и нет. Вот мои тапочки серые меховые тёплые. Вот я тащу в кухню свои пакеты. Их надо тут же разобрать, потому что у меня есть мини-мания: не распакую сразу – будет стоять, как остров забвения. Особенно чемоданы, это кошмар, они могут простоять нераспакованными неделю, десять дней, и я стану ходить мимо и спотыкаться, и ничего не делать, и проклинать себя, и всё это абсолютно бесполезно. Видимо, психоз всё-таки имеется... видимо! Не любим мы, Катерина, правде в глаза смотреть.

Нет, не любим. Ох как не любим...

На кухне моей (восемь метров) всё приличное, но не новое. Шкафчики деревянные, папа делал сам в девяносто первом, от хандры спасаясь, а буфет и вовсе старожил, крашенный под красное дерево динозавр. Внизу два огромных отделения, а наверху стоит даже нечто изящное – два отсека-домика с зеркальными дверцами, между ними проём, венчающийся резным виноградом и двумя купидонами. Из каких глубин мещанской России, от каких персонажей Зоценко приплыло это чудище? Но со мной оно жило всегда. Оно удивительно поместительно. Юрка маленький внизу прятался и тихо сидел, поедая крупу...

Холодильник... ну, холодильник «Саратов-2», так что? Работает он исправно, угрюмо рыча, – и с годами рык становится всё угрюмей. Не ломался ни разу, старый коммунист. Мы его подкрашиваем белой эмалью, сколы и трещины почти не видны. Что делать, новый агрегат – он же от двадцати тысяч, это ж с ума сойти.

Я в отделы бытовой техники давно не захожу – к чему распалить себя. Я не бедная, почему я бедная? У меня есть квартира, есть дача, есть машина, я ни дня не голодала, я плачу за обучение сына, у меня даже и шуба есть – драный каракуль, и три золотых цепочки. У меня есть Вася (мой Вася!). Я не бедная.

Просто не могу купить себе новый холодильник. Тоже мне трагедия.

А вот неправда, что ничего нового нет, – смеситель в кухонной раковине мы поменяли в прошлом году, и теперь вместо чётких кранов с красной и синей пупочкой по центру стоит регулятор. И я каждый раз забываю, куда и на сколько его вертеть. Должна помнить. А не помню. Это такая моя особенность. Я также никогда не могу понять, в хвост или голову вагона мне садиться в метро, чтобы доехать туда-сюда. Что-то у меня с пространством...

С пространством ли.

Идея кулинарная была в том, чтобы отрезать курице все внятные части на тушение, а ейный остов пустить на борщ. Так мы и поступим, но для начала...

Достала ту самую заначку из шкафчика и задумалась. Разве уже видно? Или та, в шляпке, на бутылочку, из пакета выкатившуюся, клюнула? Никогда ничего видно не было! У меня печёнка как у секретарей обкомов. Там, в советском лифте, начиная с комсомола, жёсткая имелась селекция – наверх двигались исключительно люди с чугунной печёнкой. То есть уже на

уровне комсомольских бань с блядьми шёл отбор. Слабаков браковали – «не держит выпивку». Теперь-то, конечно, всё наоборот – спорт-спорт-спорт, начальники поджарые, с лисьими и волчьими зенками, толстых извели под корень. И по-моему, они уже не пьют, а на таблетках своих, особенных, сидят. А я бы дошла в старину, может, и до самого верху, *если бы вообще куда-то шла*. Пол-литра на грудь равнодушно! Ни сбоя в дикции, ни потерь в координации, и если взять основную женскую доблесть – метать закуску на стол, – так запросто. Глаза блестят, это да.

Нехитрые мои радости – и недорогие. Нет у меня выхода, ничто ужаса не гасит, только «беленькая».

Какого ужаса?

16:35

С рождением Юрки это началось и продолжается девятнадцать лет. Девятнадцать лет панического страха. Перед Юркой у меня было два выкидыша на позднем сроке, и я тряслась всю беременность: каждый раз зайдёшь в сортир, снимешь трусы и смотришь – нет ли крови, каждый раз сердце мрёт, потому что поздний выкидыш это как роды, только без смысла. Чистая мука. Страдание без радости. Но на этот раз поезд шёл точно по расписанию, и я страстно прожила ту психологическую ловушку, когда сразу после родов кажется, будто ты уже что-то сделал окончательно и по-настоящему, а пытка – она только начинается.

Ребёнок – это же как открытая рана в боку.

Просыпаешься ночью и бежишь к его кровати – дышит ли? Мужу бесполезно объяснять, муж недовольно перевернётся на другой бок и буркнет «с чего ему не дышать». Всякий муж. Самый любящий и внимательный – любой. Они не понимают. Информация «пойду посмотрю, дышит ли маленький, вдруг...» ими не воспринимается, нет таких отделов мозга. Они понимают только факты. Ребёнок кашляет – вызываем врача. У ребёнка температура сорок – вызываем скорую. Затянуть их в своё безумие не получится, и ты останешься с этим безумием одна.

«С чего ему не дышать!» – с того, что миллионы детей на свете вдруг внезапно переставали дышать, и где взять уверенность в том, что это не случится с тобой? Бог не допустит? Других допускал же, и чем ты лучше. А если и лучше... Существует, что ли, связь между достоинствами человека и его судьбой... Вы её уловили за жизнь? Я нет.

Взять двести людей, погибших в авиакатастрофе, и проследить их судьбу от рождения до гибели – что в этой судьбе подскажет вам неминуемость катастрофы? Ничего: это обычные люди, такие же, как вы. С вами может в каждую минуту случиться любая беда. Да пусть бы она и случилась – со мной, но Юрка... Не переживу. Не переживу. Я мысленно уже там – в беде. Я была там тысячи раз. Девятнадцать лет паники! Я чувствую: в мире есть *зона несчастья*, и она всегда рядом.

Зона несчастья, где разбиваются самолёты, с гор сходят лавины и погребают вставших на её пути, люди от удара падают оземь и как-то исключительно точно прикладываются виском насмерть, а фото улыбающихся подростков появляются в ленте поисковых отрядов с этой невыносимой надписью «Найден. Погиб». Эта зона расползлась по земле и в неуловимом алгоритме следует за тобой, одно неосторожное движение – и ты ступишь в неё, как в нефтяное пятно. Одной ногой, другой... А есть и те, кто пребывает в *зоне несчастья* всегда. По праву рождения.

Ну что это: должен был из школы вернуться в два часа, а уже пять, и его нет, школа в ста метрах. Ну, триста метров, ладно. Я выбегаю из дома и ношусь кругами как умалишённая, потому что в квартире сидеть невыносимо, она уже вся заполнена моим ужасом, нечем дышать. Идёт! Как ни в чём не бывало. Перепачканный, грязный. С друзьями лазал по деревьям на пустыре (тогда ещё были пустыри, сейчас-то всё позастроили). Мам, ты что? А я в домашних тапочках.

Потом эти мобилы в народ пошли, вот смерть моя эти мобилы. Отключён! Не подходит! Кричишь – он не понимает. Они не понимают! Ну я не слышал, в кафе музыка играла, потом батарейка села. Ненавижу это всё. Себя ненавижу. Я до малейшей ноты знаю, как начинает свою песню паника – она под грудью начинается, в глубинках, и растёт-нарастает, застилает голову, и вот уже ты вся целиком превращаешься в неё. Убили. Где-то лежит. Пропал, и не найдут. Листовок, что ли, не видела я, «ушёл из дома и не вернулся». (Всегда смотрю и шепчу: вернись, вернись...) Потом эти сети завелись, на фиг мне эти сети, но сделала себе долбаный аккаунт, там опция есть – когда кто из друзей заходил в сеть. По десять раз на дню проверяю, Юрка был в сети два часа назад, Юрка был в сети полчаса назад... Толку чуть! Полчаса назад был, а через минуту – всё что угодно... да что через минуту, *в ту же минуту...* Зона несчастья. Она умеет расширяться, протягивать щупальца, как спрут.

Пришёл домой пьяненький, пятнадцать ему было, завалился в ванну, закрылся (надо замок снять вообще), заснул. Стучу, кричу – не отвечает! (Мой Вася бомбил на ту пору. Он в школе физику преподаёт и по вечерам подрабатывает извозом.) Взяла самый большой нож, режу-долблю шпингалет, распилить я его, что ли, собиралась, колочу кулаком, ору. Юрка вышел наконец – смотрит, мать вся в поту, с вытаращенными глазами и с ножом в руке. Картинка.

Это можно так жить?

А выпьешь – полегче. Поэтому я, после того казуса с дверью ванной, употребляю в течение дня, в случае стрессовых ситуаций – добавляю. Немножко лучше мне стало. Потому как навстречу поднимающейся вверх чёрной панике вниз бежит весёлая струя дурной радости, и они встречаются в районе сердца. Причудливо смешиваются. И глушат друг друга! Я боюсь, но в то же время страхи мои мне самой смешны. Тревога отчётлива, но переносима, а главное, начинает звучать какой-то голос, который до того в сознание не пробивался.

Женщина, – говорит голос. – Горе ты моё. Случится что – будешь переживать. Но ничего ж не случилось, что ты себя терзаешь? Накручиваешь на ровном месте.

Какой хороший это голос. Был бы он всегда со мной...

Вася ничего не замечает. Вася – запойный.

16:45

Вася действует так. Раз в месяц он берёт в школе отгул к двум выходным, плотно затаривается и едет на дачу. Один. Там происходит полная чистка психики, и возвращается Вася тихим, немножко больным и при этом кротко сияющим.

Привозит блокноты, искорябанные какими-то иероглифами, – в подпитии Вася сочиняет стихи и пытается их записать. Расшифровке это диво мало поддается, но зато Вася может быть уверен, что сочинил гениальное. Мы не всегда были раздавленными козьянками, считающими каждый рубль.

Мы же летали. Как вся молодёжь в Ленинграде восьмидесятых годов. Мы были *публика, их публика – тех, кто утверждал, что «мы вместе», искал серебро Господа и знал, что если есть в кармане пачка сигарет, значит, всё не так уж плохо на сегодняшний день.*

Мы – барашки погасшей волны. Обломки кораблекрушения. Остатки (останки) рока... Пассажиры самолёта, попавшего в историческую катастрофу – чего мы напрочь не осознавали.

Кто в восемнадцать лет видел и слышал, как Башлачёв поёт «Все от винта», тот в быватели не годится. Он бракованный. Рука на плече, печать на крыле, в казарме проблем банный день, промокла тетрадь. Я знаю, зачем иду по земле, мне будет легко улетать... Я домохозяйка! Мне уши надо досками забить, чтоб таких песен никогда не слышать. Какая я, к дьяволу, домохозяйка. Что я умею, косорукая? Пуговицу пришить – и то с муками...

Нитку вдеть в иголку – это, понимаете ли, наука целая. Лампочку вкрутить – засада! Васе не предлагать даже. У Васи тремор. Он кротко посмотрит глазами своими виноватыми, и у тебя одно желание – погладить его по голове, а лучше в лобик поцеловать.

Вася утверждает, будто постиг, что такое электричество. Мы с Васей несколько веков вместе прожили. Башлачёв, он три века назад был, в наше милое кривое Возрождение... Я специально ничего не вспоминаю, так, чтобы прилечь и команду себе дать: вспомни. Оно само всплывает. Если сейчас допить заначку, обязательно что-то всплывёт и, несомненно, отразится на качестве борща.

Что-нибудь перепутаю. Помидоры кину до картошки, а надо после. Потому как буду я уже не на своём первом этаже, с новым смесителем да в старых новостроечках, а в 1987 году, в солнечном июне, на ступеньках Дворца молодёжи... У нас целый Дворец был! На Профессора Попова...

От многих в жизни дел нет толку никакого,
Вот я грущу о чём, вот я спешу куда,
По бесконечной улице Профессора Попова,
Который не грустил, наверно, никогда...

Башлачёв там пел, в белой русской рубаше с красным шитьём, а я в первые ряды протырилась, меня отцовская знакомая провела, по должности «методист» – кто теперь вспомнит, что это такое. А тётки ходили с важным видом, каблучками цокали. «Методист дома культуры»... Сгорел ваш дом культуры. Навек, навек, навек. А тогда во Дворце молодёжи был фестиваль, или смотр, или чёрт его знает что нашего рока, и это теперь не представить, что *все-все-все* тогда были вместе, сменяли друг друга на сцене: «Зоопарк» за «Аквариумом», «Алиса» за «Кино», «ДДТ» за «Телевизором»... Смешно, что Миша Борзыкин вопил:

«Твой папа – фашист», а папа мой тогда из любопытства пошёл посмотреть на молодёжь и огорчился. Он был ярый антисоветчик, мой папа, простой инженер. Он Галича слушал и подпевал, ловя страждущим ртом галичевские саркастические интонации, как живую воду. Таких миллионы были, куда ж они теперь делись, когда вдруг выяснилось путём исторических мытарств, что коммунисты были ах какие молодцы? Демоны поменялись... но смеяться не перестали. «Кто же так смеётся над человеком, Иван?» – это в «Братьях Карамазовых» папаша спрашивает у сына-умника. Кажется. В недоученной моей голове, как в загаженном море, плещутся полудохлые цитаты.

Рука на плече, печать на крыле... Башлачёв в этот день был трезвый, чистый, красивый, волновался перед большим залом. Жить ему оставалось меньше года. На последних съёмках и фотографиях смотреть на него уже страшно: одутловатое лицо, жуткие зубы, воспалённый больной взгляд. В народ он не прошёл, сложно сочинял, затейливо. В народ прошёл Цой – не имея вовсе такой цели. Шёл в вечность, маршрут пролёг через народ...

Такое было всегда. Когда количество фальшивых орфеев, поющих для властей и за деньги, превышает терпение Господа, он сдёргивает с места тех, кто сидел у себя на крыльце и пел, соревнуясь с птицами небесными. Людей зачастую без голоса и без слуха. *Людей без ничего. Людей ниоткуда... Но именно они получают приказ: иди. И они идут – а потом уходят.*

Башлачёв ушёл в восемьдесят восьмом, Цой – в девяностом. Время выворачивалось и схлопывалось, земля вставала на дыбы и валилась на тебя, как то бывает при падении с высоты. А я вышла замуж за Васю. И стали мы жить-выживать... О, выпила и не заметила как. Да, дела. Уже ко мне тётеньки-идиотеньки просветлённые кидаются – значит, я что-то такое транслирую типа «помогите»?

Я пыталась получить высшее – два года на философском, год в культуре на режиссуре. Екатерина Хромушкина, в девичестве Горяева. Просто девчонка. Рядовая девчонка, таких на групповых фотографиях тусовки восьмидесятых потом, в публикациях, подписывали: «неизвестная девушка». Я себя однажды обнаружила за такой подписью в книге о «Сайгоне». Ничего, смешно. «Неизвестная девушка». Без трёх минут бал восковых фигур, без четверти смерть, с семи драных шкур да хоть шерсти клок. Как хочется жить, не меньше, чем петь, свяжи мою нить в узелок. Башлачёв сегодня привязался, будет крутиться в голове, пока не отрублюсь...

Модных девчонок – они ходили по рукам, которые потом оказались знаменитыми, – было немного, и они сейчас почти все вчистую спились, а я держусь, рядовая неизвестная девушка. Как всякая война, красная волна рока была делом мужским, а мы что, мы санитарки, марки-тантки, так, за обозом. Ну, и орать на концертах. После совместного распития спиртосодержащих смесей нас охотно употребляли, и мы верили, что это и есть та самая *Love*. Не надо, не плачь, лежи и смотри, как горлом идёт любовь. Лови её ртом, стаканы тесны, торпедный аккорд до дна! Рекламный плакат последней весны качает квадрат окна. Кому я теперь могу объяснить, что за окном восьмидесятых кипел другой воздух? Таким же, как я? Они знают. Пропорция любви и смерти в этом воздухе менялась в течение дня: с утра могло быть – одна четверть смерти на три четверти любви, а к вечеру – наоборот, но кому-то внезапно выпадала одна только любовь, и понятное дело, находились те, к кому в распахнутое окно шла одна смерть. Юрка не хочет слушать Башлачёва, морщится: не моё.

Они не будут слушать твоих песен...

Тут у нас связь времён прервалась, а у меня с родителями обрыва связи не было. Я, скажем, охотно слушала папиного Галича, меня завораживал его гулкий басовитый голос, будто он пел в пустом доме или в пещере, упругие интонации, налитые неподдельным пафосом. Он был дьявольски остроумен к тому же. Но я недавно стала его переслушивать – и что-то стало опадать, как осенние листья. Когда он поёт: «Подвези меня, шеф, в Останкино, в Останкино, где Титанкино, там работает она билетёршей, на ветру стоит, вся замёрзшая...», я ему доверяю безусловно, хотя сама коллизия песни чисто московская, ленинградцу не близкая. Мужчина променял любовь на деньги, женившись на дочке высокопоставленного отца, «у папаши у её дача в Павшине, у папаши топтуны с секретаршей, у папаши у её пайки цековские и по праздникам кино с Целиковской». Какое ещё там кино с Целиковской, это для рифмы, само собой, но главное, что криптобуржуазная кодла, сдавшая социализм империализму, плотно кучковалась в Москве. Да не в том суть. Там классный образ, в песне, этой билетёрши, которая «вся замёрзшая, вся продрогшая, но любовь свою превозмогшая, вся озябшая, вся простывшая, но не предавшая и не простившая». Нет, это антикварное – ценное. А вот те сочинения, что про кумирню интеллигентскую, они надрывно-фальшивые. Про смерть Пастернака начинается так: «Разобрали венки на веники, на полчаса погрустнели, как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели...» Что за венки на веники? На какие на полчаса – тысячи людей рыдали. Кто гордился, что Пастернак умер в своей постели? И почему бы ему не умереть в своей постели – его что, собирались сажать? Пальцем не тронули. Исключили из Союза писателей, и это мерзко, не буду возражать, но даже о ссылке речь не шла. «И кто-то спьяну вопрошал за что кого там, и кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом, мы не забудем этот смех и эту скуку, мы поимённо вспомним всех, кто поднял руку!» Всё лажа. На том собрании не было пьяных и жрущих, это описывается атмосфера какого-нибудь рядового партийного заседания. «Мы поимённо вспомним всех, кто поднял руку!» Настоящий густопсовый большевизм.

И про Зоценко песня вся надуманная, выморочная, будто тот заходит в шалман, в котором сидит шарманщик с обезьянкой и поют «шлюхи с алкашами», в Ленинграде 1949 года, ага. Слова лихо закручены, не спорю. «Были и у Томки трали-вали, и не Томкой – Томочкою звали, и любила с миленьким в осоке, и не пивом пахло, а апрелем...» В осоке??? А вы

любились когда-нибудь в осоке, вы в принципе знаете, что такое осока? Ужасно всё неточно. Но Галич интонацией брал – «я судья!».

А маленькая была – сидела рядом с папой, подпевала. Доверяла им – папе, Галичу. Не надо было доверять?

В горах моё сердце, а сам я внизу.

Из меня ничего не вышло. А, Юрка вышел. Мне скидка положена, я женщина. В нашей русской заповедной роще это ещё работает, хотя финиш просматривается. Женщина, когда она жена и мать, имеет право не иметь треклятых «успехов»...

И не заметила, как заначка моя тю-тю. И что интересно – я раньше слушала музыку на кассетах, на дисках, а теперь мне ничего такого не надо. В голову всё переместилось. Бульон кипит, пора капустку резать, надо сейчас, а то потом хвачу ножом по пальчикам, уж сколько раз было. Порежу овощи, тогда...

Не хочет он учиться, Юрка. Ладно, песни мои ему чужие, но он учиться не хочет, каким-то *глубинным нехотением*. Может, он что-то предчувствует? Насчёт пользы учения. Потому что... если взять, к примеру, рождаемость. С одной стороны, да, она зависит от разных факторов, экономика, стабильность, ля-ля-ля. А с другой стороны, бабы то рожают, то не рожают, и ничем этого не объяснить. Приметили разве, что перед войной много мальчишек рождается. Идёт волна! Или – не идёт волна.

Почти тридцать лет как волны нет.

Так, теперь томатная паста, уксус, соль-перец. Чеснок мелко порезать, вышла из строя дивная моя чеснокодавилка. Вторая за год! У Галича в «Караганде» – «режу мелко на водку лучок...» – кой хер лучок на водку резать мелко? Его поперёк, кольцами режут. Он вообще резал лук на водку, Галич-то? Небось жена справлялась. «А у психов жизнь, так бы жил любой – хочешь спать ложись, а хочешь песни пой...» Вот это правильная песня.

Интересно, мне уже пора в клинику неврозов или ещё не пора? Может ли человек единолично решить сей вопрос?

Народ мой домашний вернётся часа через три, и у меня есть время порешать загадки жизни. Одна из важных: почему мы всё время наливаем? То есть что я имею в виду. Выпили рюмку. На полчаса по крайней мере опьянения хватит. Через полчаса можно налить другую и сидеть ещё полчаса. Так ведь нет же! Мы наливаем снова буквально через пять минут. И пошло-поехало. Чего мы добиваемся? Чтобы стало «ещё лучше»? Но ещё лучше не станет, мы лишь быстрее напьёмся.

Зачем мы всё время наливаем?

Нет объяснения.

Летом у меня мощный перерыв. Летом я беру детей на дачу, не больше четырёх голов и чтоб не младше семи лет, такой маленький частный пионерлагерь. За деньги, да. При детях не пью – ни-ни. Совесть имеется.

17:50

Любила я Галича и Ленина одновременно, честное слово. Сталина ведь в годы моего детства-юности в их иконостасе не было, его портреты и сочинения дотлевали в пенсионерских квартирах – всюду царил Ленин. Диалектический материализм, исторический материализм, научный коммунизм – ссылки и цитаты только из Ленина.

Рассказы о Ленине. «Ленин и печник», стихотворение Твардовского, такое задушевное! Я до сих пор его знаю наизусть. В кино первейшие артисты его играли... Я вот что думаю... думаю! Думаю ли я? Или мной думают? Я же не сама выбрала дедушку Ленина в родственники и не сама потом вдруг догадалась, что он мне никакой не дедушка.

Всё это мне навязали. Вот Васю (моего Васю!) я выбрала сама, а советскую петрушку мне впихнули в голову, а потом выпихнули – я тут где, я тут при чём.

Я есть вообще?

Так, заначку-то я допила, пора открывать новую. Взяла беленькую под именем «Беленькая». Я ни к какому сорту водки не привержена, потому как наши производители стандарт не держат и любая новая марка через год уже дрянь и говно. Когда появилась эта водка, «на берёзовых бруньках», казалось – вот она, истина; года не прошло – сивуха. Бруньки, йопта. Слились бруньки туда, где ходят поезда-поезда (повторять быстро-быстро, классический детский дебильный прикол), там уже много чего обитает. Керамиды, о! Кто помнит керамиды? А триклезан? Кстати, я и сама забыла, что это были за звери такие... Что-то для волос? Для зубов?

Всё одно попадали и волосы мои, и зубы. Над волосами я в юности неслабо измывалась – всех цветов была, – но перед зубами я ни в чём не виновата, это фатально, это Петербург. Я видела одну передачу про жителей острова в океане – у них интересное питание: ракушки всякие, иногда рыба и главный деликатес – манговый червяк. Зубы у аборигенов иссиня-белые, крупные, ровные, без малейших изъянов. Значит, для пользы своих зубов следует переместиться на остров N в океане... Тихом, наверное. Жить ради зубов – а почему бы и нет? Хотя бы ради зубов.

Тридцать лет назад я вдохнула полной грудью воздух свободы, и это звучит пафосно и комично, являясь абсолютной правдой. Мы развели свою свободу на советских родительских бобах, но она была, пока нас не поставили в угол у параши, где нам самое место. Тысячи стали богатыми, а миллионы – нищими. Научились считать копейчку... И я теперь считаю, считаю, считаю...

Тогда никто из нас не пил один. Просто потому, что не был один. Люди сходились и сливались так легко, как облачка в небе. Разве это можно объяснить! Разница во временах такая, как между поэзией и бухгалтерским отчётом. Нынче я, как все, бухгалтер. И надо бы смириться, и я вроде смирилась, а в глубине кто-то пищит и бунтует. Царапается. И если ко мне придут революционеры-подпольщики и скажут: Катя, сбереги подпольную типографию, я – сберегу. Нельзя мне, а соглашусь... Потому как... Я что скажу: в семнадцатом году народ ломанулся не по делу. Тогда ещё было кого ценить наверху: дворяне были культурные и талантливые, капиталисты совестливые, священники верующие. А вот теперь бы – в самый раз. Теперь красивых культурных драпировок у власти нет никаких. Жалеть некого. Просто – боимся, что будет хуже, и правильно боимся, потому что будет хуже. Ненавидим их – и боимся. Загоняем инфекцию внутрь...

Выпившие люди всегда удивляются, когда им указывают, что они – выпившие, потому что не чувствуют опьянения как опьянения... то есть вот что я хочу сказать. Внешние признаки им не видны. А внутри ничего страшного нет, наоборот, человеку приятно и весело. С чего вы взяли, что я пьян? У меня хорошее настроение, только и всего. Качаюсь, так это улица кривая. Пою громко? А почему я не могу петь? И отчего это «мне хватит», откуда это вам известно, хватит мне или нет? Просто зло берёт даже. Тут невольно начнёшь пить один – чтоб не лезли.

Я блаженствую. Ничего не царапается и не пищит! Душа наружу пошла. Придавленная скособоченная моя душа распрямилась и пошла наверх. Скоро мы с ней встретимся. Чтобы облегчить процесс, надо музыку врубить, *ту музыку*, музыку моей юности и нашей свободы... Святую и возлюбленную мою музыку. Включить внутри головы.

18:15

Чего сегодня? Четверг, что ли? Вообще пох, но есть разница: когда Вася вернётся. По четвергам Вася. По четвергам Вася... Правильно, ездит к маме. Значит, у меня есть запас времени, потому как Юра сегодня будет поздно и предупреждал. Мелькает мысль, что зря они меня оставляют одну и не колышет их, что я вообще делаю, одна-то. Мысль маленькая и глупая. Кого что колышет. Граммов триста приняла, делов-то. А что, башлачёвского «Ванюшу» в трезвости слушать? Это кошунство, господа.

Васей быть хорошо, я какая-никакая, накормлю, рубашку постираю. Иногда горько становится, что обо мне ни у кого нет попечения, нет заботы; когда к родителям ездила на дачу, так мама хоть пирожками угощала, а теперь и пирожков тех след простыл. Вкусно делала – с капустой, с салом и чесноком. Теперь я ем только то, что сама состряпала, ужасно, меж прочим, надоело. Если я вдруг упаду, то кто поднимет? В символическом смысле упаду...

Почему-то стала плакать, какого чёрта, нос распух и потёк... Зеркало в ванной отразило какое-то лицо, наверное, это я. Чёрные пятна под глазами – а, я же накрашила ресницы перед треклятым походом в торжище. В сорок девять лет пора перестать краситься, я знаю. Но не могу с ненакрашенным рыльцем выйти из дома, мне кажется – я без штанов как будто. Голая и беззащитная. По той же причине напяливаю не меньше четырёх колец на руки, какие-какие, серебряную дешёвку, ну, и обручальное не снимаю – пусть *они видят*, что женщина замужем. Они, которые у нас в голове живут и всё видят... быть замужем – это для них достижение. В нашей заповедной патриархальной роще. Крашу ресницы, а тушь не ложится, ресницы-то истончились и повывлезли.

Помады у меня целых три. Одна гигиеническая, другая фиолетовая из «Ив Роше» и красная дорогая, Вася подарил. Мы, приличные женщины, стали краситься как шлюхи в веке позапрошлом, как пожилые клоуны, как примадонны оперные... Мы как будто на сцене и как будто товар, когда мы давненько не товар. А впрочем, с каких борщей я решила, будто я – приличная женщина?

Как ходил Ванюша бережком вдоль синей речки... Как водил Ванюша солнышко на золотой уздечке...

Всё неправильно.

Глаза у меня большие, но слишком близко поставлены. Нос великоват и с горбинкой. На подбородке ямочка... Хорошо, что у меня нет денег, а то бы сдуру перекроила себе лицо. Волосы стали темнеть – была я русая, сделалась тёмно-русая. Стригусь раз в два месяца – ровняю каре. Краситься больше не буду, нет, нет...

Отчего я такая жалкая?

Какая темень! Какая темень!

Почему-то внезапно наваливается острый голод. Надо съесть что-нибудь, что-нибудь? Так вот же борщ готов, его. Лень сметану добавлять... С борщом махнуть полстаканчика – за милую душу.

За ту душу, которая ревела у Ванюши. Да вы ж задули святое пламя! Слушайте, я хожу в церковь. Захожу в церковь. Захожу и выхожу. Исповедь? Не получится у меня...

Борщ получился, борщ вышел, борщ удался. Пока что ничего не испортила, ничего не спалила. А, однажды бульон выкипел, но не аварийно. Кастрюля подгорела, но я её отскребла песочком. Песком и содой – лучше всего... Я же контролирую себя. Просто что-то происходит с временем, да и с пространством, когда принимаешь *на душу*. Реализм переходит в фантастический реализм. Плотность материи слабеет – в личном восприятии. Боли совсем не чувствуешь... Тем более холода. Пьяницы засыпают в сугробе и просыпаются здоровыми...

Вася тоже тогда был во Дворце молодёжи. Он «Зоопарк» любил и «Странные игры». Я что, уже пачку скурила? С утра открывала. Тут фокус в том, что ты простодушно забываешь, как только что закурил, и закуриваешь снова, и снова забываешь. Видимо, так. Из лесу выйдет и там увидит, как в чистом поле душа гуляет. Кто не хочет это увидеть? Я хочу.

Ну там сколько-то

Можно и Высоцкого, про баньку по-белому, не в тексте дело, хотя текст ничего себе, там звук есть... Похоже на вой. Да, воеет зверь. Могучий зверь, огромный. Шерсть в крови и лапа сломана. Точно, что хищный. Но хоть и тоска у него, он не то чтобы счастлив... Он упоён

жизнью, всякой жизнью, любой, он же – зверь. Мне так этого не хватает – простой зверской жажды жить! То есть она есть как-то под спудом, будто ручеек под снегом, она таится...

А если бы наружу выбилась? Что бы я стала делать?

Это-то понятно... Будто кто не знает, что мы делаем, когда жажда жизни. Пьем и развратничаем. Орём песни. Лезем к людям с исповедями да проповедями. Вот я укрылась в доме, и никто не видит... Правильно, гигиенично.

Я молодец.

Это верная мысль. Я молодец. А что? Ребёнка вырастила, да. Родителей похоронила честь по чести. Сорок девять лет в России оттрубила женщиной!

Этим повезло. Этим Ванюшам, Башлачёвым, Цоям и Высоцким. У них условно-досрочное было освобождение. А у меня – пожизненный срок без всяких там апелляций.

Протопи. Не топи. Протопи. Не топи...

Вообще ничего не понимаю

Хули меня трясти, я вам что, хи-хи, груша. Вась, отвали, Вась. Отдыхаю я. Почему надо, куда надо. На полу? На каком полу? Юрочка! Детка! Всё, что я люблю, всё со мной. Какие у вас мордашки, умора.

Я лежу на полу. Подумаешь! Ну полежу немножко, встану. Вот вы смешные. И зачем так кричать. Я тоже кричать умею. Почему я не могу спокойно полежать. Нельзя на полу. Почему нельзя? А вы тоже ложитесь, и мы вместе положим.

Я хочу немножко ещё пожить. Я люблю петь. Вась, чего мы с тобой не поём? Раньше пели. Нет, волокут меня куда-то. Ребята, я могу сама. Встану сейчас с колен. Россия встанет с колен! Ну простите, я не хотела. Сижу одна, скучаю без вас, думала чуть-чуть принять, сама не заметила. Простите! Дуру мать.

Завтра будет стыдно. Сегодня не давите, ладно? Сегодня у меня всё вышло. Вам не понять...

Сегодня я свою душу видела.

08:20

Вчера – оно не сразу становится прошлым и обретает твёрдый статус. Я проснулась, когда оба домочадца спали, и принялась обдумывать своё «вчера». Забралась в ванну, ласково бы было – с пеной и солью, да всё кончилось, купить забыла, а коли я забуду, так ведь ниоткуда не возьмётся. Неоткуда вещи явиться без меня, то есть я в моём мире творец главный и единственный. В воде раскинувшись, основная моя задача – перемочь стыд, всегда сопряжённый со здоровым отрицанием всякой моей вины. Стыд придавливает душу так, что мелькает мысль – нет, не о смерти, а о том, что избавиться от этого несносного тела было бы совсем недурно. Поэтому я выстраиваю цепь весомых, логически безупречных доводов в свою защиту. Я ловкий адвокат. А как у прокурора, у меня логики нет – прокурор орёт ведем одни грубые лозунги. Позор. Допилась. Гибнешь. На полу валялась. А ещё мать.

Мать, мать. Не родилась же я матерью. Печати на мне не было. Мать – это должность...

Если мать – это должность, то самое время вынести решение о неполном служебном соответствии.

Да? На каком основании? Ребёнка я вырастила. Собственно говоря... давайте начистоту. Смысла большого в дальнейшем моём существовании не имеется. Ценности для общества я не представляю. Через несколько... сколько-то там лет... буду нагло претендовать на обременение бюджета своей пенсией. Я ж иногда работала. Я хочу сказать, что безотрадная пустыня моего будущего принадлежит лично мне. Вам очевиден ужас вчерашней картинке, а мне – нет. Вы меня что, приварили к этим кастрюлькам? Приговорили каждый день, ну, через день проходить треклятые девятьсот тридцать шагов? Пожизненно? Нет, отвечайте, это – пожизненно?

Нет, отвечает прокурор – или это уже судья? Никакого приговора. Живи свободно, да только спать на полу после употребления внутрь бутылки водки – это наихудшее использование свободы. Пожалуйста, бросай свои кастрюльки, уходи в религию, в волонтеры, в оппозицию, куда хочешь иди; ты же не идёшь, потому что у пьяного одна дорога – за новой бутылкой.

Они сейчас проснутся, и что я им скажу?

Что мне делать-то? Чем заполнять дни? Солнце восемьдесят седьмого года, как мне скрыться от твоих разящих лучей? Солнце за нас, ты только помни – солнце за нас. Костя Кинчев был в этом уверен – а ещё бы, когда солнце ходило за ним и не было ни одного его концерта, чтоб Оно (Он вообще-то) не являлось в небе. А потом пришлось вымалывать хотя бы лучик. Не потому, что я жалею себя (впрочем, не вижу тут ничего страшного – пожалеть себя, милое дело!), – но ведь *разница воздуха* бывает невыносима, ведь есть же на свете кессонная болезнь от перепадов высоты, а мы с такой высоты упали...

Мы с такой высоты упали. Мы разбились...

И потому надо пить, что ли? Не надо, не надо, никто не говорит, что надо. Так выходит. По слабости человеческой.

Странно, что я вчера так надралась, с чего. А! Ирина Петровна меня разоблачила, был маленький стресс. Шляпка, розовый шарф с котиками. Помню улыбочку на её лице, я ещё подумала – надо же, морщины могут быть элегантными.

Проснулись. Стучатся в дверь. Иду на казнь...

Что там Ирина Петровна говорила о подруге, *которая сорвалась?*

Часть вторая

Суббота, 12:05

Ирина Петровна Корсакова, подарившая мне свою клетчатую сумку в трудный миг моего домохозяйкиного бытия, жила в глухом и непонятном для меня районе метро «Автово», в «сталинском» доме, к возведению которого товарищ Сталин никакого отношения не имел. Он же, кажется, и в Ленинграде-то не был. Дома проектировали толковые советские архитекторы ещё дореволюционного года рождения: никаких причуд нервного модерна или фантазмагорических претензий конструктивизма. Строительная мысль тогда не предполагала перемен времени, образа жизни и форм правления – *живи насовсем*. Дом-слон, дом-носорог! Мощно, прочно, убедительно, и стены точно крепостные – пушкой не прошибёшь.

Я предполагала, что увижу в квартире столь запасливой женщины отменный порядок – но такой безумной, вопиющей чистоты не ожидала.

Двухкомнатная квартира Ирины Петровны сияла. Обои, по старинке, бумажные, в цветочек мелкий, но нигде ни трещинки, ни пузыря. Белая тюль на окнах (второй год собираюсь своё серое безобразие постирать), белая скатерть на круглом столе, и – кобальтовый сервиз стоит, меня к чаю звали. Показалось мне – вся мебель пятидесятих годов, нет, стулья оказались новые, ручной работы, «*брат подарил*», но того же незабвенного оттенка (тёмно-жёлтый? светло-коричневый? не называть же его «сталинским»), что и торжественный, как маршал на параде, шкаф. Подумалось, что в шкафу, на полочке, лежат настоящие носовые платочки. Из *матери*. Выстиранные, отглаженные.

Без шляпки и мешковатого пальто Ирина Петровна оказалась статной женщиной с длинной балетной шеей – и верно, танцевала некогда Ирина Корсакова в кордебалете Кировского театра. Но уже двадцать восемь лет как на пенсии. О, так вам... О, никогда не скажешь. На стенках комнаты фотографии висят, хорошо, что я близорука, а она не настаивает. Не указывает перстом (это, видите, я в «Жизели», третья слева) – и не надо лицемерить. Да я и не умею.

Если жить вне коллектива, ничего этого не нужно. Как в деревне крестьянину. Лицо, может, и корявое, а своё. Не надо его кривить в подлых улыбках – «Ниночка Олеговна, как вы сегодня прекрасно выглядите!»

– Попробуйте варенье, берите кексы, это *всё наше, сами делаем*.

– Ваша семья?

– Наша семья, да. Ну, дорогая, вы рассказывайте, пожалуйста. Как провели ваше время, вы, конечно, милая моя, бутылочку ту опрокинули... в себя?

Чай не чайный какой-то.

– Травяной сбор, – разъяснила Ирина Петровна, – я чай давно не пью.

– И кофе не пьёте?

Только рукой махнула и рассмеялась.

– Мы сами готовим травяные сборы, это свежий. Не то, что в аптеках продают, Бог весть что...

При слове «аптека» Ирина Петровна гадливо поморщилась.

– Вы думаете, и травяные сборы можно подделать?

Ирина Петровна подняла вылезшие брови и вперила в меня пронзительный взгляд цепких сереньких глазок.

– Чего ж проще, милая моя! Труху в пакетики запаять и по ста рублей впаривать. А я про зверобой свой знаю даже, где он рос и кто его собирал.

– И где он рос?

– У нас в Мокрицах, у реки. В августе. Я и собирала, и ещё три сестры.

– У вас три сестры?

– Мы все сёстры.

Да, секта. Я так и думала. Брат, который стулья подарил, – того же колера брат. Сейчас начнётся вербовка. Задурят голову, потом квартиру отнимут... Внимание, Катерина!

– Так что у нас там с бутылочкой?

– Выпила.

– Довольны результатом?

– Результат, Ирина Петровна, один и тот же, сами знаете.

– Что там знать, знаю. Дорогая моя, как на пенсию вышла, девять лет спивалась. Детей нет, родители умерли... Это их квартира.

Понятное дело, что их квартира, и у меня квартира от родителей, нам самим, *переломанным* людям, на квартиру не заработать. Кто-то смог, а мы не смогли. А что смогли? Государство расхерачили, орден нам на грудь. Да я при чём, я девочкой была. Башлачёва слушала, обмирала? На кинчевских камланиях танцевала на спинках стульев? Так ты, детка, в доле. Есть такая статья – соучастие в преступлении. Я не знала! А незнание законов не освобождает от ответственности. Каждому поколению – своя статья, детка...

– Жила я – сами понимаете. А на водку тем не менее всегда хватало. И потом, у меня были мужчины... знаете, балетная выправка многих привлекает. Про балерин в мужской среде ходят слухи, что у них всё там так необыкновенно... мускулы, растяжка...

Заинтересовалась.

– А это правда?

– И да и нет. Растяжка растяжкой, но есть проблема... возбуждения, понимаете ли, дорогая, без этого мускулы штука декоративная. На самом деле всякое искусство так обглаживает женщину, что в ней мало жару остаётся на любовь... Приходит мужчина, приходит с бутылкой, а потом мужчина не приходит, и ты несёшь бутылку сама. Однажды чуть не сгорела я вот в этой самой квартире... Но Бог привёл к хорошим людям.

Баптисты, адвентисты, пятидесятники, свидетели Иеговы, мормоны, какого сорта эти черти...

– Общество трезвости? Собираетесь вместе и рассказываете, как это прекрасно.

Ирина Петровна улыбнулась, и я опять заметила, что улыбка не фальшива, но приторна. Но как чисто и приятно она одета – белая блузка и коричневый трикотажный сарафан. Опять шарфик, на этот раз в ромашках. Образок на шее и всего одно колечко на правой руке, чернёное серебро. Облик располагающий – наверное, в *их семье* она вербовщица. Новых *братьев и сестёр* приводит.

– Вы когда-нибудь слышали про Ивана Чарикова?

Ничего и никогда не слышала я про Ивана Чарикова.

И *сестра Трезвость* начала рассказывать.

12:30

– Мы – чариковцы, продолжатели дела Чарикова, Ивана Трофимовича. Община его образовалась в Мокрицах, в 1922 году, а в семидесятых, дорогая моя, произошло разделение, часть братьев и сестёр пошли ложной тропой, но мы, настоящие чариковцы, сохраняем Учение Ивана Трофимовича, идём дорогой Отца, хотя честно скажу вам, Катя, подлинного секрета чариковского не знает никто.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.